





Валерий
ЯЗВИЦКИЙ



ИВАН III –
ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В ПЯТИ КНИГАХ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(Рус)6-5
Яз40

Серия основана в 2007 году

Язвицкий В. И.

Яз40 Иван III — государь всея Руси. Полное издание в одном томе./— М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1278 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0662-3

УДК 821.161.1
ББК 84(Рус)6-5

В настоящем издании полностью публикуется знаменитый роман известного русского писателя В. И. Язвицкого (1883 — 1957), посвященный одному из самых прославленных властителей России — великому князю и государю всея Руси Ивану III Васильевичу, во время правления которого было окончательно свергнуто монголо-татарское иго, Москва объединила вокруг себя русские земли и была провозглашена Третьим Римом.

В романе сочетается историческая достоверность событий с динамично развивающимся сюжетом и яркими убедительными образами исторических героев. По праву это произведение считается лучшим, посвященным государю Ивану III.

ISBN 978-5-9922-0662-3

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010

Книга первая

КНЯЖИЧ

Глава 1

В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Вскричала жалобно во сне и сразу же проснулась княгиня Марья Ярославна. Страшно ей, а что привиделось, не помнит. Тоской, духотой томит ее, а кругом-то тьма еще темная. Словно шапкой, накрыла Москву знойная летняя ночь, будто придушила. Тишина мертвая, а по всему Кремлю то ближе, то дальше как-то нехорошо петухи перекликаются, особым ночным криком. Хочет княгиня соскочить со скамьи, пробежать скорее в сенцы, разбудить девку Дуняху, да ноги нейдут — ослабли с испугу...

Вдруг где-то близко как взвояет по-волчьи собака, словно, окаянная, смерть почуяла. Спрыгнула с постели княгиня, откуда и силы взялись, спешит все сделать как полагается.

— На свою голову вои, на свою, не на княжие хоромы, — быстро шепчет она заговор и торопливо переставляет свои башмаки к самому порогу, пятками к двери.

Собака завела еще протяжней и враз смолкла, а со двора все так же страшно глядит глухая июльская ночь, и четырехугольные листочки слюды, как злые глаза, чернеют в косячатых окнах. Темно еще в душных покоях, лишь в переднем углу, у кивота с иконами, разливается тихий свет и дрожит кроткое сияние. Алые и синие лампы, мигая огоньками и чадя деревянным маслом, бросают разноцветные пятна на гладкие стены из дубовых тесаных бревен, обитые сукном-багрецом, завешанные всяким узорочьем, и на пестрые ковры, застилающие весь пол опочивальни. Перебегая от огоньков лампад, играют райки на самоцветных камнях золотых венцов и окладов, и всё тут спокойно, тихо и дивно... Вдруг полыхнуло в окна огнем и, четко обозначив на миг свинцовые переплеты рам, совсем ослепило. Грянул гром, тяжело прокатившись по небу. Марья Ярославна вздрогнула и поспешно закрестилась, шурша шелком сорочки.

— Пресвятая Богородица, Заступница наша, спаси и помилуй, — привычно зашептали губы, и вдруг ей припомнилось, о чем днем и ночью молилась с тех пор, как великий князь пошел к Суздалью на Улу-Махмета.

Пала княгиня ниц пред иконами.

— Побей, Боже, — молит Ярославна в слезах, — побей Махмета-царя, защити от злого татаровья. Помилуй князя Василья и все

христианство. Ради младенцев моих Ивана да Юрья спаси, Господи, раба Твоего Василья...

Долго билась и плакала она на полу пред кивотом, и легче ей стало после слез и молитвы. Да и быстро летняя ночь побелела, побелели и в окнах слюдяные листочки. Встала с колен княгиня и со слезами еще на больших темных глазах побрела босая тихонько через крытые сенцы в хоромы княжичей. Прислушалась, отворила дверь осторожно в покои, чтоб не скрипнуть, и в щелочку у косяка подглядела: спят ее оба сыночка под храп мамки Ульяны, ни заботы, ни горя не ведают.

— Да и что им знать-то? Ивану шестой, а Юрью и четырех еще годиков нету...

Перекрестила их через дверь и, сразу сомлев ото сна, еле дошла до своей опочивальни. Позевывая и крестя рот частым крестом, чтоб не влетела нечистая сила, оправила она постель на скамье и легла. Слышит — у Спаса на Бору, что рядом на великокняжьем дворе стоит, сторож Илейка часы бьет, но тяжелые веки сами смыкаются, путается все в голове у княгини, и, не досчитав часов, заснула она на третьем ударе.

Второй раз проснулась княгиня от громкого воркованья голубей над окнами — гнезда у них там за резными наличниками. День уже занялся, совсем рассвело. Раннее солнышко червонно-золотыми стрелами бьет сквозь слюду в самый потолок, и словно все смеется кругом от радости. Вот и коровы замычали, пастух в рожок заиграл.

— Ой, заспалась! — вскрикнула княгиня испуганно.

Наскоро перекрестясь на образа, выскочила она в сенцы, разбудила Дуняху и заплескалась у рукомойника. Не успела умыться, а Дуняха уже тут с шитым шелками утиральником.

— Чтой-то, государыня, ныне ты так ранехонько встала? — говорила курносая толстогубая девка, лениво почесываясь и потягиваясь.

— Суббота сегодня, Дуняха, али забыла? В подклетьях Федотовна с Варюхой мыльную, поди, уж топят, да и в крестовую поспевать надо. Осердится Софья Витовтовна...

— Верно, государыня, строга у тебя свекровь-то. Грозно блюдет молебные, да только зря ты всполошилась — солнце-то у самого края земли еще. Успеешь. Охо-хо! Рот-то мне от зевоты свернуло. Спозаранку ты поднялась, али что худое привиделось? Ведь и гребта у тебя на душе великая.

— Тому не гребтится, кто Бога не боится. Ночесь сон страшный видела, да с испугу забыла какой, а тут еще пес так жалобно взвыл...

— Ой, страсти! Покойников чует пес-то, бьются наши с погаными...

— Только успела яз вовремя заклятье наложить — башмаки к порогу переставить.

— Ну, слава Богу! Отвела ты горюшко, а то, как ведаешь, и мои братья с великокняжьем двором под Суждалем...

Утираясь полотенцем, прошла в опочивальню княгиня и начала обряжаться к молитве.

— Ну, Дуняха, убирай голову мне поскорее, — приказала она по-хозяйски и сбросила ночную повязку.

Глаза у княгини стали строгими, как пишут на иконах, и сурово, почти неподвижно смотрели из-под крутых бровей куда-то вдаль, будто за стены хором. Заробев от этого взгляда, Дуняха молча расчесала ей густые русые волосы, заплела на две косы, туго стянув их, чтобы плотней улеглись под шелковым волосником с жемчужной поднизью, чтобы к сраму и к греху великому ни одна прядь из-под него случайно не выбилась. Тщательно ощупав края волосника, Марья Ярославна осталась довольна Дуняхой.

— Ладнушко! — ласково усмехнулась она. — Не дай бог бабе опростоволоситься!

— Каку рубаху-то давать? — сразу повеселев, спросила Дуняха. — Белу, алу ин изволишь желту?

— Алюю хочу сегодня.

Дуняха достала из сундука шелковую рубаху с пристегнутыми к рукавам запястьями, развертывая, как всегда, дивовалась:

— Запястья-то — одно загляденье! Шитье золотое так узорно, а жемчуг крупной да красно так насажен!

Усадив княгиню на резной столец, Дуняха надела ей желтые сафьяновые чулки-ноговицы с золотым и жемчужным шитьем, обула в такие же нарядные алые башмаки на серебряных подковах.

Поверх рубахи Марья Ярославна велела накинуть цветистый шелковый летник с длинными, до пят, рукавами, расшитыми золотом, с жемчужной обнизью. Широкая парчовая лента с золотой тесьмой обегала вокруг всего летника у подола и спереди взбиралась вдоль застежек каждой полы к самому горлу.

Дуняха застегнула летник на все кованые из серебра пуговицы и повязала княгиню поверх волосника белым головным убором с золотым шитьем на концах.

— Ну и баска же ты, государыня Марья Ярославна! — всплеснула руками Дуняха. — Токмо вот ожерелье надеть да серьги самоцветные...

Княгиня весело рассмеялась и, выставив рукава летника, а из-под них запястья алой рубахи в прорези позади рукавов опашня, воскликнула:

— Ах, люблю яз алый цвет, Дуняха! И как нарядно выходит: опашень весь руд-желтый, а сверху рукава, а снизу башмаки — алые!..

Затопали легко и часто в сенцах детские ноги, распахнулась дверь опочивальни, и оба сына княгини Марьи Ярославны вбежали к ней уже умытые и одетые, в желтых вышитых рубахах с сереб-

ряными поясами и в синих порточках, заправленных в сафьяновые сапожки.

Мамка Ульяна в парчовой шубейке и в парчовом волоснике, еле поспевая за княжичами, крикнула им с порога:

— Перекреститесь раньше на образа-то!

Мальчики послушно закрестились, но тотчас же, смеясь и подпрыгивая, подбежали от кивота к матери. Мамка Ульяна насупила брови. Не нравились ей эти вольности, все же круглое и морщинистое лицо ее улыбалось, а серые, совсем прозрачные глаза лукаво смеялись, поглядывая на княжичей.

— Матунька, — ласкался Иван к матери, — дай щечки твои поцелую, пока не набелила их Ульянушка...

— А и то, Ульянушка, начинай, — заторопилась Марья Ярославна, обнимая и целуя детей, — хлопот-то тебе со мной надолго...

— Ну, свет мой Ярославна, у меня всё скоричко! На язык я — скороговорка, на руку — скорodelка: лысый не успеет кудри расчесать, а я уж все снарядила...

Дуныха, завязывая на затылке свой девичий венец, прыснула со смеху. Засмеялась и княгиня, а за ней и дети.

— Щеки набелю, нарумяню, — продолжала Ульяна, доставая горшочки с притираньями, — брови сурьмой подведу, сурьмой подведу да потом...

Визг поросят и громкое гоготанье гусей на дворе заглушили ее голос. Внизу, у самых подклетей княгининых хором, где хлебный, сытный, кормовой и житный дворы, а также скотный, птичий, поднялся сплошной шум и говор, как на торге. Иногда только можно разобрать сквозь гом и гул, как, отворяясь, скрипят ворота, звякает цепью ведро у колодца, залившато ржут лошади, кричат и ругаются люди...

Княжич Иван подбежал к окну и, отвернув суконный налавочник, вскочил на пристенную лавку. Быстро, со стуком поднял он окно, спугнув наверху голубей, громко захлопавших крыльями, и просунул голову наружу.

Солнце поднялось уже до самых крыш, прямо в глаза светит, блестит на крестах у Михаила Архангела, Успенья-Богородицы, Ивана Лествичника и Чудова монастыря, золотит каменные кремлевские стены с бойницами и с башнями-стрельнями. Ярко сверкает слюда в окнах горниц и светлиц второго яруса боярских хором, и еще ярче горят окна на третьем ярусе у теремов, вышек и светлиц, окруженных расписными гульбищами с перилами и решетками. У иных хором на самых кровлях построены башенки-смотрильни с вертящимися по ветру золочеными петушками и рыбками, жаром пылающими теперь на восходе солнца.

Румяное утро начинает тихий и жаркий день. Розовый дым медленно выползает из деревянных дымниц над тесовыми крыша-

ми и прямыми столбами подымается в небо. Хоромы стоят среди садов и огородов то кучами, образуя узенькие улочки и переулочки, то в одиночку, словно крепости, огороженные деревянным тыном из бревен. Около них и среди пустырей и оврагов кое-где разбросаны как попало курные избы княжой и боярской челяди: холопов и вольных слуг всякого рода. Избы топятя по-черному, и густой дым, клубящийся тучами, окутывает их крыши, выбиваясь со всех сторон через волоковые окна, черный и багряный от зари.

Знает Иван, что не пожар это, а все же боязно ему. Переводит поскорей он взгляд за кремлевские стены, где сквозь легкий туман над Москвой-рекой, Яузой с болотистой Чечеркой видно Загородье, посады и слободы, все Заречье и подмосковные села и деревни. Всюду между озер и болот бегут, сверкая, ручьи и речонки, а на их берегах множество больших и малых мельниц, особенно по Яузе. Ярко желтеют глиной овраги, зеленеют рощи на пригорках и среди просторов зреющей ржи.

Засмотрелся княжич на знакомые места — любит он из окон на дали далекие любоваться, особенно из княжой башни-смотрильни. Иной раз подолгу глядит так в окна, пока не отзовут или пока тоскливо не станет. Видит он и дороги, — тонкими ниточками тянутся они от Москвы в разные стороны: в Орду через Серпухов, в Нижний Новгород, левей, через Яузу, к Владимиру и Суздалью, а еще левей — к Юрьеву и в Кострому. Все их показывал княжичу Алексей Андреич, наставник его по чтению Часовника и Псалтыря.

Других дорог не видно княжичу, но знает он, — памятливы очень, — что есть еще дороги: и в Ярославль, и в Новгород Великий, и в Литву, откуда бабка Софья Витовтовна приехала, и в Смоленск, и в Тверь. Смутные думы сами идут к Ивану со всех сторон, и тяжело ему на душе стало, когда ясней разглядел он дорогу на Юрьев и Кострому. Вспомнил, как отец постом еще по этой вот самой дороге уезжал с войском, а над ними высоко подымалась желтая пыль. О войне вспоминает княжич, о татарах, и страшно ему за отца, забыл совсем о дворе, где на возах масло, муку, мед, крупу привезли, уток, гусей и кур. Шарахаясь по двору, пылят там ногами и блеют бараны, громче и громче кричат и ругаются люди...

— Что ж, сыночек, там деется? — услышал он голос матери. — Пошто крик такой и лалянье с сиротами и холопами?

Иван побольше высунулся из окна и увидел среди обозов, пришедших из княжих подмосковных, дворецкого Константина Иванныча. Тряся бородой, кричит он во весь голос на какого-то старика, а тот, поддерживая холщовые порты и нахлобучивая поярковый колпак то на лоб, то на затылок, тоже кричит на дворецкого, а что они кричат, непонятно. Тут же шумят и оба ключника дворовые, Лавёр Колесо и Федор Пупок со своими подключниками, — уток, кур, гусей, яйца да масло принимают...

Ничего разобрать нельзя.

— Костянтин Иванович осерчал, на старика кричит, — не сразу ответил Иван матери, — а за что — не знаю...

В это время ясно в окно донеслось:

— Да ты Бога побойся, Костянтин Иванович. Людишек мало! Не токмо что мужиков, но и парубков нетути! Все с князем на рати против безбожных татар... Эко-ста дело-то!

— Вот пожалует тебя батогами государыня Софья Витовтовна, вот те и дело! — прикрикнул дворецкий.

Дуняха вдруг встрепенулась и тоже к окну бросилась.

— Так и есть, государыня, из Капустина наши обозы пришли, — крикнула она княгине Марье Ярославне, — отца мово лаёт дворянин-то! Ох, государыня, и ведомо мне за что: к Петрову дни не снарядил обозу, а сроку молил — не дал дворецкой... Заступись, свет мой ясной, перед старой государыней...

— Попрошу, Дуняха, а ты поди после молебной в подклеть, вызнай от отца все. Может, и сам Костянтин Иванович простит по моему заступничеству, не доведет до матушки-государыни...

— Ножки твои поцелую...

— Ох, как бы и мне срок не пропустить, — засмеялась княгиня, — шевелись, Ульянушка! В крестовой, чаю, матушка-свекровь уж все свечи и лампы затеплила...

— А который час, матушка? — спросил княжич Иван, соскочив с лавки и укрыв ее снова шитым налавочником.

Стройный и высокий не по годам, он в задумчивости гладил рукой угол изразцовой печки с голубой росписью и, хмурия брови, о чем-то усиленно думал. На вид ему было лет восемь, но большие, темные и строгие, как у матери, глаза смотрели так умно и остро, что казался он еще старше.

— Который час? — подхватила мамка Ульяна, желая развеселить княжича. — Ячневой квас! А которая четверть? Изволь, хоть и черпать...

Но Иван даже не улыбнулся.

— Вот и не ведаешь, — сказал он. — Илейка-звонарь тоже неверно бьет. А Костянтин-то Иванович мне сказывал, что есть за морем часы самозвонные...

— И у нас, Иванушка, на дворе такие есть, и в колокол каждый час ране они отбивали. Деду, великому князю Василь Димитричу, заезжий сербин ставил, да сломались они в тоё еще лето, когда я овдовела, а сербин-то и ране того в Царьград отъехал. Чаю, помер там давным-давно, ведь и мне-то за шестой десяток идет...

Княжич оживился, суровые глаза его засияли.

— Во фряжской земле, Ульянушка, — ласково перебил он мамку, — часы иные. Месяцы, дни и числа они показывают, а бьют в

два колокола: в большой — токмо часы, а в малой — токмо часовцы дробны...

— А что, голубенок мой, за часовцы такие? — спросила мамка.

— А то вот. В каждом часу шесть дробных часовцев, а в одном часовце десять часцов, а часец — токмо вот скажи «раз», и часец прошел. Насчитала ты десять часцов, вот тебе и дробной часовец прошел...

— Ну и скорометлив же ты, Иванушка! — дивилась Ульяна. — Вразумил тебя Господь и к хитрости книжной и во младенчестве разуму наставил...

— Пора нам в крестовую, — строго сказала княгиня, приняв от Дуняхи шелковый платочек белый с золотой каймой, и пошла к дверям.

— Матунька, — засопел носом и, готовясь заплакать, залепетал Юрий, — дай мне оладуська с медом...

— Дам, дам, мой басенькой, — стала утешать его Ульянушка, — вот придем из крестовой на трапезу, я те два дам! Мы ведь с тобой так: где олады, тут и ладно, где блины, тут и мы! А вечером в мыльню пойдем, медов да квасов наберем. Будем пить-попивать да коврижками заедать... Не плачь, не плачь, а то бабка заругает...

— Не забудь, Ульянушка, — сказала, выходя уже в сенцы, Марья Ярославна, — возьми в мыльню березового соку студеного. Чтой-то сердце у меня опять после поста разболелось. Ежели поем жирного, во рту горечь, и все мне нутро жжет, словно огнем палит...

Когда Марья Ярославна с чадами и домочадцами входила в крестовую, государыня Софья Витовтовна, покурив своеручно ладаном, приблизилась к аналою и, шурша шитой золотом приволокой из узорчатого шелка, опустила на колени. Творя крестное знамение и поклоны, она суровыми глазами следила из-под густых седых бровей за всем, что делается в крестовой. Увидев сноху со внуками, старая княгиня приветливо улыбнулась. Марья Ярославна подтолкнула незаметно Ивана и взглядом показала на свекровь. Княжич понял и, поднявшись с колен, подошел с младшим братом к руке бабки.

Следом за великокняжьей семьей пришли к молебну княжий слуги, не взятые с прочими дворовыми в поход, и вся домашняя челядь, крестясь и земно кланясь.

Софья Витовтовна, отпустив внуков к матери, оправила аналой, передвинула удобнее Евангелие в серебряном окладе с изображением Христа посередине и ликами апостолов, писанных на эмали, по углам оклада. Раскрыв потом Часовник и положив на Псалтырь между Евангелием и на престольным крестом, она молча оглянулась на священника и кивнула ему головой, чтобы начинал он служение. Отец Александр, духовник великого князя, протоие-

рей кремлевского собора Михаила Архангела, седой величавый старик в шелковой темно-багровой рясе с наперсным крестом, быстро подошел к аналою вместе с дьячком Пафнутием и стал креститься. Потом взял с аналоя положенную дьячком епитрахиль, развернул и благословил ее, произнеся звучным голосом:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа-а!

— А-аминь! — протяжно закончил его слова дьячок.

Отец Александр благоговейно поцеловал вышитый золотом крест на епитрахили и через голову надел ее на шею, спустив сшитые концы на грудь. Княжич Иван с любопытством смотрел, как привычно и ловко отец Александр высвободил наперсный крест из-под епитрахили и из-под курчавой седой бороды.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, — провозгласил священник.

— Аминь! — снова ответил Пафнутий.

Внимание Ивана рассеялось, когда началось чтение часов, которые он знал наизусть с тех пор, как выучился читать по Часовнику. Ему вспомнились опять рассказы учителя, дьяка Алексея Андреевича о Цареграде, стоящем у моря, о фряжских землях, но особенно занимали часы во великокняжьем дворе, о которых он не знал раньше.

«Может, Ульянушка обманывает меня, — думал он, — любит мамка сказки сказывать и небылицы...»

Он решил, как только придет Алексей Андреевич, просить его, чтоб показал дедовские часы на дворе. Никогда он никаких часов не видал, а они вот тут на дворе...

Нестерпимо долгими казались ему на этот раз утренние часы. Переминаясь с ноги на ногу, но крестясь и кланяясь, когда нужно, он поглядывал исподтишка на бабу. Глаза у нее острые, и сейчас она усмотрит, что он молитвы не слушает, но она не глядит на него. Зато мать заметила и чуть слышно шепчет около самого уха:

— Не верти головой! Молись, как подобает!..

Он, усерднее кладет поклоны, но замечания матери не страшат его, и о молитве он мало думает...

«Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу... — услышал он слова молитвы и обрадовался, что утренние часы уже кончаются, а дьячок тоже будто заторопился и скороговоркой закончил: — Без нетления Бога Слова родшую, Сущую Богородицу Тя величаем...»

Потом, переменяя голос, громко и протяжно обратился к отцу Александру:

— Именем Господним благослови, отче!

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, — провозгласил священник так же громко и протяжно.

— А-аминь, — радостно протянул Пафнутий, закрывая Часовник и отходя от аналоя.

Государыня Софья Витовтовна первая подошла к аналою и, приложившись к Евангелию и кресту, приняла благословение духовного отца. Потом подошли Марья Ярославна и княжичи, а за ними все прочие.

Когда княжич Иван приложился к холодному золотому кресту, а потом к теплой, пахнувшей ладаном руке отца Александра, тот ласково погладил его по голове и спросил:

— Как Господь вразумляет тебя грамоте, княже? Лексей Андреич мне сказывал, что zelo сподобил тебя Господь благодати, во еже внимати учению.

— Мы, отче, «Деяния» читаем...

— Похвально, вельми похвально. На шестом году токмо азбуку учат, а ты и Часовник и Псалтырь прошел. Да просветит тебя Господь и от всякого зла сохранит...

Он снова благословил княжича, а стоявшая рядом Софья Витовтовна прослезилась и ласково молвила, целуя в лоб внука:

— Любимик ты мой! Умная моя головушка...

Этот раз в субботу обедали, как на праздники, у Софьи Витовтовны — бабка захотела полакомить внуков. Старая государыня очень смеялась, узнав от мамки Ульяны, что меньшей об оладушках плакал, и приказала, пока еще стол не обряжен, пока скатерти стлали браные да сосуды ставили, принести внукам оладьев с медом. Юрий заскакал от радости и заплескал в ладоши.

— Ты что, — строго остановила его бабка, — ты у скomorохов да у гудошников скаканию и плесканию научился? Не подобает так княжичу...

Иван хотя вел себя в гостях чинно, как взрослый, но ел сладкие олады с не меньшим вкусом, чем его братец, облизывая пальцы.

Сегодня у Софьи Витовтовны, кроме невестки и внуков, обедал и духовный отец, и на стол были поставлены серебряные ендовы и братины с медами и серебряные сулеи с водками всякими: простой, доброй, боярской, двойной и сладкой на патоке — для княгинь. В ведерках и ендовах были квасы хлебные и ягодные, а для Марьи Ярославны особая серебряная братина — с берёзовицей.

Стояли серебряные блюда со студнем из свиных голов под чесноком и хреном, с колбасами, с копчеными сигадами и провесной рыбой, а в малых ведерках была икра осетровая и стерляжья. Среди белого серебра сияли золотые и золоченные солоницы, перечницы и горчицины.

Княжич Иван любил рассматривать всю эту посуду, особенно ту, что стояла на полках больших поставцов. Полки эти внизу широкие, для крупной серебряной посуды, а кверху все уже и уже для того, что помельче: кубков, стоп и чарок разных — и серебряных,

и золотых, и хрустальных, и даже каменных, резанных из агата и сердолика.

На всех этих сосудах — узоры, позолота, чернь и эмаль или сделаны цветы, звери, люди, птицы и листья то литьем, то чеканом, то резьбой, и везде надписи. Иван не все надписи эти мог прочесть: по-итальянски многие писаны. Это из Литвы прислано Софье Витовтовне в приданое, когда она еще замуж за деда в Москву выходила.

Еще больше любил Иван рассматривать на бабкиных поставках серебряные яблоки, зверей, птиц и рыб серебряных, золотых и костяных, а особенно город, точенный из кости, с башнями и церквями, а на костяных стенах его стрельни с воротами и подъемными мостами.

Садясь за стол, Иван видел и здесь затейливые фряжские, литовские и русские сосуды, лишь не такие нарядные, как в поставках, но тоже узорные и с надписями. Против него мать поставила чарку с медвяным квасом. Он прочел на ней: «Чарка добра человеку, пить из нея на здравие», — и улыбнулся, довольный, что легко узнал, о чем писано.

Все это занимало его, и не заметил он, как подали жирные шти с бараниной, а к ним полбенную кашу на блюдах и блюдцах. Ест он шти с Юрием из одной мисы, заедая кашей, а дума у него опять о фряжских землях, где всё не по-нашему и всякие есть занятные хитрости.

— За здравие московского князя великого, — услышал Иван голос отца Александра. — Ниспошли, Господи, благоверному князю нашему победу на сопротивные агаряны. Охрани его крестом Твоим, Господи.

Протоиерей поднял высоко серебряный кубок, перекрестился и выпил, низко поклонившись княгиням.

Снова стало Ивану страшно за отца, и забыл он о заморских землях — хочется знать только, как там под Суздалем. Ждет теперь, не дождется, что скажут старшие.

— А что, отче, слышно? — спросила наконец Софья Витовтовна, и сухое лицо ее дрогнуло, а под легкими морщинами на лбу и под глазами прошла тень и застыла скорбно в уголках губ.

— Нету вестей, государыня, — печально ответил отец Александр, — но ведомо, что Димитрий Шемяка ни сам ко князю не пришел, ни воевод своих не послал...

— Ох, скороверен сынок мой, — вздохнула Софья Витовтовна, — сызнава поверил ворогу своему Димитрию Юрьевичу. Димитрий же все время за ним, как волк за конем. Ждет, ежели споткнется, он ему в горло и вцепится...

— Истинно, государыня, — подтвердил духовник, — есть грех такой, скороверен наш князь. Сколько раз дядя, князь Юрий Га-

лицкий, а потом и сынок-то его Василей Косой, обманом да нечаянностью вредили ему и даже Москву отымали...

— Помню, отче, — с горечью продолжала княгиня, — разграбил тогда на Москве князь Юрий и княжое и мое имянье, а нас, княгинь, в Звенигород заслал, яко полонянок каких. Помнишь, чай, Марьюшка? Никому того не дай, Господи... Помер князь Юрий-то, слава Богу, а сынок его в тесном заключенье слепой сидит крепко. С Шемякой же у нас мир, вишь. Забыто, что шесть лет всего как безбожный Улу-Махмет к Москве подходил, а Шемяка ни одного воя и тогда не прислал, а крест целовал. Ныне вот сызнова поверил мой сынок ворогу, а где от Шемяки помочь?

— Истинно, государыня! Ни один полк от князя Димитрия, слышно, не послан, а царевич Бердедат, чаю, не поспеет к Суздаю на помочь — отстали вельми от нашего князя. Токмо еще от града Юрьева отошел царевич-то...

Священник замолчал, опустив голову. Долго молчали все за столом, в печали продолжая свою трапезу. Взглянув на мать, увидел Иван, что склонилась она над своим кубком с берёзовицей, а из глаз у нее бегут двумя дорожками слезы по щекам, размывая румяна и белила.

Сердце княжича сжалось, и, боясь заплакать, он торопливо стал обгрызать поданное ему Ульянушкой стегнушко жареного гуся. Отирая жирные руки и губы столовым полотенцем, он торопливо утирал незаметно и слезы. Но Софья Витовтовна все видела и, обратившись к любимому внуку, сказала с нарочитой веселостью:

— А ну-ка, Иванушка, скажи, какое ныне лето?

Княжич, пересиливая себя, чуть помолчал и голосом спокойным, но с едва заметной дрожью, ответил ясно и отдельно, как будто отвечал своему наставнику:

— Шесть тыщ девятьсот пятьдесят третье лето от сотворения мира...¹

Старая княгиня гордо улыбнулась, увидев изумление на лице отца Александра, и добавила:

— Знай, любимик мой, что худа всегда ждут в высокосныя леты, а прошлое лето было высокосное, а и тогда худого нам не было...

— Ничего худого по воле Божией и ныне не будет, — добавил Александр, поняв, что старая княгиня хочет утешить и сноху и внука.

— Марьюшка, — продолжала Софья Витовтовна, — враги-то наши того не ведают, что они — токмо краешки, а середка-то всему — Москва, все под Москву само придет. Всех их Москва съест, а без Москвы и Руси не стоять. Вот и моего сыночка скороверного сама Москва, Божией милостью, с десяти годочков бережет...

¹ 1445 год.

— Да и советы твои берегут, государыня, — добавил отец Александр. — Издетства ты его государствованию вразумляла...

Иван не слушал дальше, затосковав опять по отце. Так вот и стоит он перед ним в золотых доспехах, каким он уезжал на рать, а глаза у него веселые, веселые — смеются...

Когда же подали изюм, редьку, варенную на меду, рожки, финики, сушеную смокву, обед пришел к концу. Маленький Юрий устал, захотел спать, не ел даже лакомства, зевал и потягивался.

— Ульянушка, — сказала Марья Ярославна, — уложи-ка его спать...

Мамка Ульяна засуетилась около Юрия, взяла его на руки и понесла в спальню княжичей, нараспев приговаривая:

— Потягота на Федота, а с Федота на Якова, а с Якова на всякого...

Вышел вслед за Ульяной из-за стола и княжич Иван, захватив кусок сухой смоквы. Сам он уж больше не хотел сладкого, но брал смокву для друга своего Данилки, сына дворецкого Константина Ивановича.

Отстав от Ульянушки, Иван задумчиво и медленно, а не скачками, как всегда, сошел во двор по широкой лестнице с резными решетками по бокам. Он только сегодня за трапезой вполне осмыслил всю беду, которая может постигнуть отца, бабу, мать и его самого с Юрием. Улу-Махмет казался ему теперь страшным, вроде Змея Горыныча, о котором ему с Юрием Ульянушка сказывала, и досадно было за отца, что он не умеет делать так, как следовало, как бы Добрыня Никитич сделал или, еще лучше, как сам Илья Муромец...

Зажимая в кулаке кусок сушеной смоквы, он обошел княжие хоромы и направился к черному крыльцу бабкиных хором, к жилым подклетьям, где всегда его поджидал Данилка. После обеда им было самое свободное время, когда все ложились отдыхать, а они вдвоем, без няnek и мамок, бродили по всему княжому двору, где хотели, только за ворота не смели выйти.

Но на этот раз в бабкиных подклетьях Данилки не оказалось, а сидели за столом у самой переборки у солныша, у бабьего стряпного угла, Дуняха с отцом да сторож-звонарь с ними, старый Илейка. Перед ним была сулея с водкой да ендова с крепким медом: у ключника для гостя Дуняха вымолила. Свой он, ключник-то, из капустинских.

— А, княжич! — весело крикнул тот самый старик, что утром бранился с дворецким. — Милости просим, здравствуй, голубок! Садись с нами за стол, чем богаты, тем и ради. А я, вишь, ежели на дворе, то на солнышке, а ежели в избе, то поближе к солнышу! Садись к нам, соколик...

Иван перекрестился на образ в красном углу, поздоровался и присел на скамью возле Дуняхи.

— Вот я тебе и скажу, — продолжал Дуняхин отец, — дворянин-то утресь кричал, что я-де, староста из села Капустина, опять поруху учинил государеву делу! А тивун-то капустинский где?! Ты все, Дуняха, молодой княгине обскажи. Тивун-то все на меня, а мужиков нет, парубков нет — нет мне ни от кого помочи...

Он замолчал, выливая в деревянную чарку Илейки остатки водки.

— Будя, Кузьмич, а то шумен стану, — улыбаясь, отнекивался Илейка, а сам тянул к себе чарку.

— Пей, Петрович, за здоровье нашего князя, — продолжал, пьянея уже, Кузьмич, — а я еще медку пососу. Эх, хорошо едреной, крепкой медок, не хуже водки. Эко-ста дело-то! А тивун-то у нас — не дай Боже! Такой нечунай — никакой от него ни ласки, ни помощи не жди...

— Сие, как татары говорят, «ни сана, ни мана!»¹ — промолвил Илейка, ставя на стол пустую чарку. — Есть такие. Ни сиротам, ни князю от их добра нет. Ну, да как Бог. Небось, Кузьмич, правда сама себя очистит. Правды и Мамай не съел...

Илейка замолчал, опустив захмелевшую голову, но тотчас же встрепенулся и заговорил горестно:

— Отец еще мне при смерти приказывал: держись Москвы, как вошь кожуха. В тепле и в сыте будешь, и татарин тебя не тронет! Ан Улу-Махмет Москву один раз ограбил, теперь опять идет...

— Князи виновати, — мрачно выговорил Кузьмич. — Сказано: за княжое согрешение Бог всю землю казнит! Князи-то наши волками грызутся, ладу у них нет, а без ладов и кадки не соберешь...

— Как подумаешь умом — и головушка кругом, — поддержал Илейка. — Поганым же того и надобно — прут на Москву, убивают, грабят, христианство в полон берут...

Кузьмич оперся на руки и залился пьяной слезой.

— Не горюй, братаня! — тронул его за плечо Илейка. — Не тужи, голова. Давай песни играть.

— Эх, ты! Какие мне песни! — всхлипнул староста и, ложась головой на стол, добавил: — Двое сынов у меня под Суждалем-то...

Густой храп показал Дуняхе, что отец наугошался досыта. Осторожно уложила она его на лавке и побежала в хоромы к Марье Ярославне.

Княжич, досадуя на Данилку, что до сих пор не приходит, смотрел на дремавшего Илейку. Опять ему обидно и тяжело от всего, что услышал, хоть плачь, да про часы вдруг вспомнил, дернул за рукав Илейку.

— Покажи часы самозвонные, что на дворе! Покажи!
Оживился старик и дрему забыл.

¹ «Ни тебе, ни себе!»

— Экую старину ты вызнал, — говорит Илейка, посмеиваясь, — айда на двор. При мне их ставили, я еще парубком молодым был — сербину колеса подгонять пособлял...

Повел старик Ивана в самый конец княжого двора. Видит княжич, стоит здесь башенка ветхая, деревянная, а на ней круг большой медный и прозеленел весь. Стрелка на нем одна толстая, на резных знаках неподвижно стоит: на двух крестах с палочкой и уголком — XXIV.

— Сие, княжич, часы и есть, — указывает рукой Илейка. — Стрелка вон та ране кругом ходила и как подойдет к какому знаку, так колокол бьет. Знаки те — латыньские, как сербин-то говорил, а я неграмотен. Знаю, вот одна палка — один раз били, две — два, три — так три раза, а там уж токмо по бою помнил.

Княжич долго смотрел на медный круг, на стрелку и знаки.

— А кто же стрелку двигал? — спросил он, наконец.

— Сама, княжич, шла. Колеса в башне вертелись...

Иван удивленно и недоверчиво глянул на Илейку, потом быстро подбежал к башне, заглянул в щель полуотвалившейся дверки и замер. Сам в полутьме он увидел огромные зубчатые колеса, круглые железные брусья, цепи и гири.

— Верно, Илейка, — крикнул Иван, — есть там колеса! Колеса, ты говоришь, стрелку вертели, а колеса кто?

— Гири вот те, что на цепях, а я их каждое утро подымал, а они к другому утру опять спускались. Так они целый день и ночь колеса и стрелку вертели и вот тем кулаком железным в край колокола били...

— А если теперь гири поднять?

— Ржой, княжич, всё переело, а ране что-то унутри их сломалось — не то зубья у колеса, не то ось. А били-то они зрятну всякую: и тринадцать, и пятнадцать, а то и двадцать четыре...

— А вот Костянтин Иваныч говорит, за морем такие часы есть, что всё показывают: и год, и месяцы, и дни, и числа.

— На море, на окияне, — смеясь, перебил его Илейка, — на острове на Буяне стоит бык печеный, в зад чеснок толченый: спереди режь, а в зад макай да ешь! Помело — твой Костянтин-то Иваныч...

Княжич рассердился и крикнул:

— Ничего ты не разумеешь и сам-то часы звонишь неверно.

— Ай нет! Я всегда по петухам и по солнцу. Право слово. Исстари так, — заспорил Илейка и вдруг крикнул: — Эй, гляди, княжич, Данилка-то бежит сюды, что угорелый. Слышь, на дворе гом какой поднялся.

Иван оглянулся.

Данилка, мальчик лет десяти, всегда резвый такой и веселый, подбежал теперь к княжичу испуганный и бледный.

— Где ты был, Иванушка? — запыхавшись, бормотал он сры-

вающимся голосом. — В подклетьях искал, по двору... Тут вот увидал...

Иван сунул ему с маху кусок смоквы в руку, а спросить от испуга ничего не может, будто онемел совсем. Данилка замолчал, пучит глаза на княжича и наскоро, целым куском, жует смокву, давится...

— Да сказывай, пострел, что там такое случилось? — не своим голосом закричал Илейка и, не дождавшись ответа, бегом бросился к хоромам.

— От Суждаля прибежали, — глотая с трудом смокву, выговорил, наконец, Данилка. — Двое холопов прибежали: Яшка Ростопча и Федорец. В сенях княжих хором ждут, когда бабка и мать твоя к ним выйдут...

Затрясло Ивана мелкой дрожью, и, не помня себя, побежал он тоже к хоромам, а за ним и Данилка.

Сироты, холопы и вся челядь с княжих и боярских дворов шумела и галдела у хором великого князя, а бабы голосили и причитали. Княжичу Ивану дворня давала дорогу, кланяясь и снимая шапки, когда протискивался он к красному крыльцу. Не переводя духа вбежал он с Данилкой по крутой лестнице наверх, к горницам, но, заскочив в сени, остановился.

Бабка Софья Витовтовна с посохом в руках стоит на пороге в дверях передней. Сзади выглядывает мать, бледная, заплаканная. Иван хотел было кинуться к матери, но, взглянув на бабку, не посмел и, встретив ее суровый, словно чужой, взгляд, замер весь.

Никогда он еще бабку такой не видел и понял, почему все, даже отец с матушкой боятся ее. Тихо в сенях, как в церкви, а против старой государыни стоит с завязанной головой истопник великой княгини Марьи — Яшка Ростопча да еще Федорец Клин из княжой стражи, а рука у него почти по локоть отсечена. Ужаснулся княжич, разглядывая окровавленные тряпки на ранах воинов, рванулся было опять к матери, но, вспомнив бабку, остался на месте. Оглянулся пугливо по сторонам: видит, стоят тут и бояре, и боярские дети, и дворяне, и слуги дворские всякого чина.

— Ну, сказывайте, — повелительно и строго приказала Софья Витовтовна.

— Государыня великая, — заговорил Ростопча, — в тоё время были мы во граде Юрьеве. Ничего не слыхать было о сыновьях Улу-Махметовых, Мангутеке да Якубе, царевичах, а прискакали к нам воеводы из Новагорода из Нижнего старого: князь Федор Долголядов да Юшка Драница, они, град свой ночью сжегши, к нам от татар прибежали. Тогда князь великий, Петров день отмолясь в Юрьеве, пошел к Суждалю на татар... От воевод-то нижегородских нам ведомо стало, что пошли туда царевичи...

— Ну, а братья великого князя? — резко перебила Ростопчу Софья Витовтовна.

— По дороге к Суждалю подошли братья-то. Пришли от отчин своих князь Можайский, Иван Андреич, да брат его князь верейский, Михайла Андреич, да шурина великого князя князь Василь Ярославич с полками...

— А Шемяка?

— Князь-то Митрий Юрьич ни сам не шел, ни полков не слал, а мы немало коней загнали, помочи его прося, ибо христиан мало было...

— А было то, государыня, — вмешался Федорец Клин, — когда мы на реке Каменке, близ Суждаля, станом стояли, июля в шестой день, во вторник. А как стали на Каменке, вдруг всполох великий начался в войске. Надели доспехи, знамена подняли, пошли в поле, а татар нигде нет. Видом не видать, слыхом не слышать поганых. Пришел тут к нам вечером с полком своим Лексей Игнатыч, а потом и иные воеводы, которые отстали было от нас. Один токмо царевич Бердедат не подоспел — токмо к ночи к Юрьеву подошел. Ну, мыслим, — татар нет, успеет завтра к вечеру и царевич, да и воеводы некоторые на помочь нам тоже соберутся, пока войска Улу-Махметова еще нет. Возвеселились все...

— Пировать начали! — стукнув посохом в пол, с досадой молвила старая княгиня.

— Верно, государыня... — печально подтвердил Федорец, — князь великий ужинал у себя со всею братией и боярами, пировали до полуночи. Проснулся наутро князь поздно — солнце давно взошло. Повелел он заутреню петь, а потом похмелья поел и, опохмелясь, захотел отдохнуть, а тут стража наша прибегла с вестью, что татары через Нерль-реку бродятся... Начали мы тут все спешно доспехи, щиты и копья хватать и, снарядившись и знамена подняв, изгоном пошли на татар в поле и близ Ефимьева монастыря, по левую сторону, поганых увидели множество. Откуда и взялось их столь, конца края им нет...

Замолк Федорец, словно духу ему не хватило, побелел, как снег, и голову опустил. И Ростопча молчит. А в княжих сенях замерло все от страха; тишина, будто в могиле. Обмер почти Иван, но смотрит на Софью Витовтовну, ждет, что скажет, а руки у него оледенели совсем. Лицо у бабки стало каменным, неживое будто.

— Дальше сказывай, — услышал Иван ровный, но глухой голос, словно из другого покоя говорила теперь старая государыня. — Все, как было, сказывай...

Воины молчали, а Софья Витовтовна нетерпеливо стукнула посохом в пол, глядя в упор на Ростопчу.

Собираясь с мыслями, Ростопча оправил повязку на голове и заговорил тихо:

— Сперва мы, государыня, стрелы пушать зачали. Потом, распалась гневом, ударили на татар и с лютостью били их. Побежали полки поганых. Наши погнались, а иные из христиан сами убегли, иные же начали убитых татар грабить. Татарове же, видя безрядье такое, повернули опять на нас. Рубят, копыями колют, стрелами бьют, в полон имают...

— А где князь наш? — слабо вскрикнула Марья Ярославна и упала без чувств у порога.

Ульянушка подняла ее и посадила на лавку, а Иван, забыв все, подскочил к матери, обнимал, целовал ее, но не плакал, а только дрожал весь.

Иногда он поглядывал на бабку — та все еще стояла неподвижно на пороге передней и слушала, что говорят воины. Он вздрогнул, когда бабка закричала громко и гневно:

— Что ж вы, холопы, князя своего не уберегли? Слуги князя можайского, говоришь, с земли сбитого подняли, на другого коня посадили, из плена умчали. А вы своего князя что ж?

— Государыня великая, — горестно отвечал Ростопча, — мне секирой через шапку голову до кости прорубили, а копьём правое плечо сквозь тягилай пронзили. Отогнали поганые меня от князя, а князь-то зло бился, много безбожных убил.

— А я, государыня, до конца был, пока князя с коня не сбили. Тут мне руку отсекали... — сказал Федорец.

Замутилось в голове у Ивана, припал он к плечу матери и обмер, а когда очнулся, видит, словно через туман, что вместо воинов стоит перед бабкой Константин Иванович, бледный. Борода у дворецкого дрожит, ртом он воздух хватает, как рыба, из воды вынутая, и тонко, по-бабьи выкрикивает:

— Государыня, сотник татарский Ачисан прискакал!.. Не один, а с конниками... Хорошо понимает по-русски... Тобя, государыня, спрашивает...

Вдруг двери широко распахнулись. Вломился в княжий сени молодой татарин со щитом и с саблей, а на голове шишак. Сзади него еще пятеро татар со щитами и копыями. Оцепенели все со страху, только Софья Витовтовна по-прежнему на пороге стоит с посохом и прямо глядит на татарина, а он на нее дерзко смотрит. Да не выдержал Ачисан, опустил глаза и поклонился, а она повернулась к зятю своему, боярину князю Юрию Патрикееву, что вонной заставой в Москве ведал в отсутствие князя, и повелела:

— Прикажи, боярин враз затворить все ворота во граде, а сторожам и воям вели стоять на всех стрельнях и пушкарям вели, что знаешь...

Боярин вышел. Стоит Софья Витовтовна, опираясь на посох, и ждет. Лицо у нее опять каменным стало. Молчит и татарин, только

суму свою развязывает, достает золотые кресты-тельники, подает их старой государыне.

Ачнули все как один, узнав кресты великого князя, а Софья Витовтовна молча перекрестилась, поцеловала тельники и зажала их в руке. Вскрикнула, заголосила Марья Ярославна, но смолкла, когда свекровь обернулась к ней с гневным лицом. Опять, как в могиле, стало тихо в княжих сенях.

Ачисан же, собираясь уйти, поклонился и сказал по-русски:

— Пленен ваш князь полками царя Улу-Махмета. В Ефимьевом монастыре он, в руках у царевичей. По их воле я, сотник Ачисан, отдал тебе его тельники, а князь, хотя и ранен, а здрав будет...

— А ты, сотник, скажи царевичам, пусть царю Улу-Махмету доведут, что дадим, какой можем, окуп за князя. Пусть царь Улу-Махмет отпустит его на Москву. Пусть царевичей и князей своих с князем великим пришлет, дабы из рук моих окуп за него взяли. На том царю челом бую. А об окупе царю договориться с сыном моим, как оба пожелают.

Задрожали губы у Софьи Витовтовны, помолчала она и добавила:

— Пусть еще скажут царевичи царю Улу-Махмету, что за великого князя вся Москва и все христианство. А теперь прости, вкуси от нашей трапезы и отъезжай к царевичам с моей челобитной...

Обернувшись к дворецкому, она приказала:

— Угости с честью сотника и воев и коней их накорми...

Потом обратилась к боярам:

— А вы, бояре, как покличу, в переднюю на думу придите...

Она поклонилась и пошла в свои покои, а из сеней все выходить стали.

Широко открытыми заплаканными глазами следил Иван за бабкой, идя вслед за ней. У себя в покое Софья Витовтовна вдруг будто переломилась сразу, стала старой-старой старушкой, упала на скамью, зарыдала и забилась в тоске. Марья Ярославна прибежала, заголосила, обняла свекровь, причитает, руки ей целует. Тут Иван вдруг почуял, как страх у него прошел и сила какая-то в нем появилась.

Подошел он к бабке, тронул ее за руку и, когда она посмотрела на него мокрыми от слез глазами, суровым, хотя и детским голосом сказал твердо:

— Бабунька! Вот вырасту и всех татар побую. Не дам им никого обижать.

Улыбнулась Софья Витовтовна, поцеловала внука и снова стала, какой была всегда, строгой и важной.

— Перестань, Марьюшка, — сказала она, обращаясь к снохе, — сей часец бояр позову думу думать. Буду яз тебе и деткам охраной вместо князя великого, пока он из полона не выйдет.

Глава 2

ПОЖАР И СМУТА МОСКОВСКАЯ

Весть о пленении великого князя в тот же день обошла все посады, слободы и подмосковные села и деревни. Уже с ночи потянулись к Москве оттуда возы со всяким добром, что поценнее, а также с запасами разными: мукой, зерном, крупой всякой, маслом и салом. На телегах сидели дети, дряхлые старики и старухи с курами и гусями в плетенках, а за телегами гнали овец и вели коров.

Все обозы с шумом, криком, сгруживаясь в кучи, теснились и ворошились под стенами Кремля, медленно и с трудом проходя в ворота. Одни подводы затирали другие, а задние напирали на них, путались, цепляясь одна за другую. Телеги, скотина и люди комом сбивались в общей безрядице. Страх мучил людей и гнал их, не давая одуматься: с часу на час ждали передовых полков Улу-Махмета, уже раз осаждавшего Москву шесть лет назад, пожегшего тогда все посады и слободы. Всяк спешил затвориться за кремлевскими каменными стенами и спастись от полона и смерти.

Полны-полнехоньки стали улицы и переулки кремлевские от многолюдства великого — словно торг шел у всех хором, у каждой самой бедной избы курной и даже у хлевов и закутов. Только не весело от этого торга шумливого — страх и тревога повсюду, — дети и те плакать не смеют.

Негде уже вместиться людям — нигде в Кремле никакого жилья свободного больше уж нет, — и вот на площадях и пустырях ютятся: одни на телегах и под телегами, другие наскоро понаделали себе балаганов из досок, жердей и кольев, обтянутых дерюгой, сермяжиной или холстом дубленным; жгут костры, как кочевники в степи, варят в котлах баранину, кур, гусей, лапшу татарскую или пшено с салом, — кому что Бог послал.

Так вот и ночь прошла. Утро заалело над Москвой, а обозы все еще шли со всех сторон; словно извивающиеся черви, впились они в кремлевские ворота и всё вползали и вползали в улицы, тесня уже осевших там ранее.

Княжич Иван, пробудившись с рассветом, бросился к окну и застыл от изумления и испуга.

— Татары, татары! — громко закричал он, но крик его еле был слышен из-за гула голосов на улицах и почти около самых хором княжого двора.

Мамка Ульяна, дремавшая около крепко спящего Юрия, вскочила с лавки, когда Иван пробежал мимо нее.

— Куда ты, Иванушка? — крикнула она.

— К матуныке.

— Она у бабки! — схватив Ивана за руку, шептала ему мамка. — Татар ждем, Иванушка! В осаде будем у поганых. Наказал Господь!

Слезы навернулись на глазах Ульянушки, но Иван, вспомнив о бабке, успокоился и уже не бегом, а степенно вышел из покоя в сенцы, направляясь к Софье Витовтовне.

Покои старой государыни были заставлены раскрытыми сундуками, погребцами и ларцами, большими и малыми. Челядь обеих княгинь спешно приносила из подклетей и укладывала, как в дорогу, шубы князя и княгинь русского, польского и турецкого покроя, на редкостных мехах, головные уборы, сапоги и башмаки с золотым шитьем, унизанные камнями самоцветными и жемчугом. Клади в сундуки золотые шейные цепи, перстни, кольца, серьги и золотые обручи, осыпанные камнями драгоценными, сосуды и блюда золотые, венцы, оклады икон и кресты в камнях самоцветных и много тканей ценных — византийских и ирландских.

Всем управляла, руководя слугами, Марья Ярославна, а Софья Витовтовна только приказывала, что брать, а что оставить.

— Всего, Марьюшка, не увезешь, — говорила она ласково и печально, — а сохранить бы токмо святыни свои и от казны нашей то, чем неверным угодить было бы при окупе...

Увидев Ивана, бабка кивнула ему головой.

— Подойди-ка, любимик мой, — продолжала она с той же лаской, тихой и горькой, — чтой-то ты до солнца поднялся?..

Иван подошел к руке бабки и только теперь заметил, что в ее покоях тихо и никакого шума и гомона со двора не слышать. В опочивальне княжичей все окна открыты, а тут все опущены, и говор людской чуть слышно, словно там, за окнами, ветер в деревьях шумит листьями...

— Яз, бабунька, от крика проснулся. В окно поглядел, а там везде люди шумят, и у нас тоже, у самого двора, а наши слуги их гонят.

Вбежавший Константин Иваныч перебил его и, склонясь к Софье Витовтовне, зашептал:

— Великая государыня, изволь скорее слуг выбрать для своего поезда и в стражу для пути. К ночи надоть тебе с семейством выехать, пока поганые не подступили...

Оглядевшись кругом, он еще тише добавил:

— На Москве, государыня, беспокойно. Черные люди ропшут. Откуда-то вызнали они, будто все богатые да сильные из Кремля хотят выбежать в разные грады, и зло против богатых мыслят...

Софья Витовтовна нахмурила седые брови, посмотрела на дворецкого и молвила:

— Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где Богу молятся. Мало ль бреху по граду ходит. Дозоры наши не видали татарского войска. Мыслью яз сперва княгиню с княжичами отослать, а куда, о том после речь будет. Великой же княгине ране, чем на Кирика и Улиту, не снарядиться, на сборы дня три будет надобно...

— Шумит народ-то, государыня, от страха и зла. Особливо по-

садские, что еще с ночи в осаду сели. Есть и такие, что хотят все в свои руки взять, государыня...

— Чего Бог не даст, — усмехнулась Софья Витовтовна, — того никто не возьмет. Иди, Иваныч, готовь обозы, а слуг для поезда аз тебе потом укажу.

Обернувшись к Марье Ярославне, она сказала:

— А ты, Марьюшка, святое Евангелие, кресты и оклады в большой резной ларец положить прикажи да окутать, не бились бы в телеге-то на бревнах да выбоинах...

В покой вошла мамка Ульяна.

— Иванушка, — тихо окрикнула она княжича, — подь умыться. Скоро звонить будут к заутрене, не замешкаться бы нам. Ведь первый-то звон — чертям разгон, другой звон — перекрестись, а третий-то — оболوكись да в церкву поторопись...

Накануне дня Кирика и Улиты появился неведомо откуда юродивый странник во власянице и веригах, а в руке у него толстый посох дубовый с медным голубем на верхнем конце. Все лицо у юродивого бородой заросло, копной на голове волосья, а глаза горят и бегают. Быстро так ходит он все меж возов, звеня железамы, иногда останавливается, стучит посохом в землю и кричит:

— Ох, смертушка, смертушка — геенна огненная... Все камни сгорят на земле, потекут ручьями железо и медь, серебро и золото!

С гневом отталкивает он всякие подаяния и, запрокинув голову к небесам, с рыданием взывает:

— Господи, Боже наш! Векую еси оставил ны?! Никто не понимает его, но все боятся, а многие женщины плачут от страха. Говорят в толпе о конце мира и о знаменьях.

Встретив возле Успенского собора Дуняху, юродивый погнался за ней, грозя посохом, а у княжого двора завопил во весь голос:

— Кошки грызутся — мышам покой! В ню же меру мерите, возмеритесь и вам! Старый ворон мимо не каркнет!..

Насилу отогнали его холопы. Княжич Иван видел с красного крыльца, как прыгал у ворот юродивый, гремя цепями и выкрикивая страшные, непонятные слова. Сбежав с крыльца, Иван боязливо подошел к воротам. Там стоял старый Васюк, ходивший за княжичами вместо Ульяны, когда отец возил их с собою на богомолье или на охоту.

Широкоплечий Васюк, с курчавой седеющей бородой, был любимым слугой великого князя. Иван, схватив старика за большую, крепкую руку и робко поглядывая за ворота, торопливо выпрашивал:

— Чтой-то шумят все, Васюк? Что юродивый кричал? Дуняхе за что грозил он посохом?..

— Не бойся, Иванушка, — ласково и спокойно сказал Васюк,

чуть усмехаясь в бороду, — юрод сей не от Бога, а от лукавого, не истинный он — облыжно говорит. Чернецы из Чудова его науськивают, вот он и лаёт, как пес из подворотни. И в святых обителях подзойники есть, Иванушка, вороги государя. На Шемякино кормление они живут...

Васюк положил руку на плечо княжича и, склонив к нему кудлатую голову, тихо добавил:

— Не бойся, говорю, Иванушка! Есть тебе и без государя защита и от бабуньки и от нас, верных слуг. Мы спозаранку, до татар еще, из Москвы выбежим. К Ростову поедем или в Тверь — про то одна Софья Витовтовна знает. Уйдем и от поганых и от Шемяки. Найдет бабка, где нам схорониться...

Мимо ворот, выбиваясь из сил, пробежал купец — богатый гость, в изорванном кафтане, без шапки, с окровавленным лицом, а в улицах и переулках следом за ним гудел топот толпы, и в гомоне и гуле можно было разобрать среди грозного рева отдельные выкрики:

— Ло-о-ви-и!.. Бе-е-й окая-янны-их! Не-е пу-у-ускай! Ло-о-ов-ви-и!..

Иван увидел, как изо всех улиц и переулков валом повалили на площадь посадские черные люди с кольями и палками, окружая связанных бояр, купцов и даже дьяков, и гнали их впереди пустых разграбленных подвод. Семьи задержанных с чадами и домочадцами сидели на телегах. Женщины вопили и причитали, плакали и громко взвизгивали испуганные дети...

У самых княжих ворот, размахивая колом, прошел ражий детина, по всему видать было, что кузнец, и зычно кричал в толпу:

— Нашим трудом мошну набивали, добро наживали! Теперь животы свои спасают, а нас головой татарам выдают! Гони их, христиане, по дворам, лошадей да подводы от их отымай!..

— Айда, ребята, к воротам градным! — выкрикали разные голоса из гуши толпы. — У ворот стражу свою, посадскую, поставим!.. Айда ворота запирайте...

Васюк нахмурил брови и, поправив-кончар за поясом, сказал стоявшему рядом воину:

— Отведи-ка княжича в хоромы да обскажи все Костянтин Иванычу про смуту и подзой в народе... Да скажи, прибежали сироты с Клязьмы-реки. В трех местах, бают, перешли ту реку поганые. Одни идут к Володимеру, а иные и на Муром. Не ровен час на Москву придут...

Весь этот день княжич Иван ходил в тревоге по своим хоромам, откуда слуги торопливо выносили всякое добро в сундуках, грузили на дворе в телеги с сеном, покрывая сверху дерюгами и увязывая веревками. Все говорили вполголоса, словно боясь, что услышит кто-то, делали всё, будто хоронясь от чужого глаза.

Ульянушка, отведа княжича в сторонку, шепотком на самое уху рассказала:

— Мы, Иванушка, завтречка, до рассвета пойдем с подводами, а куда, не знаю. Бабка о том токмо Костянтин Иванычу приказала. Татары, бают, совсем уж близко, а под Москвой Шемяка кружит коршуном...

— Где ж мы пройдем? — глухим голосом спросил Иван, и губы у него задрожали. Шемяки боялся он еще больше, чем Улу-Махмета.

— Худая та мышь, что один лаз знает! — затараторила Ульянушка, увидав, что напугала княжича. — Старая государыня найдет дорогу...

Всхлипывая и зажимая рот платком, вбежала Дуняха. Уткнувшись в угол за изразцовой печкой, она что-то жалобно причитала сквозь слезы.

— Ты что, дура, нюни распустила?! — крикнула на нее Ульянушка. — Работы тебе нет?..

— Ульяна Федотовна, матушка, — заголосила Дуняха, — истопнику-то нашему, Ростопче, приказала государыня Софья Витовтовна на княжом дворе остаться хоромы стеречь да ее двор блюсти на Ваганькове...

— Уймись! Утри глаза-то, — княгиня Марья Ярославна тебя кликала!..

Дуняха сразу смолкла и уныло побрела в покои великой княгини.

— Пошто она плачет? Юродивый напугал? — спросил Иван.

— Дура, вот и плачет, — сердито ответила Ульянушка, — просватали ее за Ростопчу, свадьбу играть уж думали, а тут вот те и на: кому «Христос воскресе», а нам — «Не рыдай Мене, Мати...» Идем, Иванушка, — бабунька нас кличет. Юрьюшка уж там ужинает, — солнышко низко стало, а вставать нам до свету...

За столом сидела Софья Витовтовна одна со внуками. Марья Ярославна с Константином Иванычем в хлопотах были, им не до ужина. Иван ел молча, взглядывая изредка на хмурое, суровое лицо бабки. О многом хотел он спросить ее, но не решался. Наконец, она заметила это и сама спросила:

— Ты что, Иванушка?

— Видал яз, баба, юродивый, в цепях весь, за Дуняхой бежал, палкой грозил, а что кричал, не знаю...

Бабка усмехнулась.

— Боле не токмо кричать, а и встать седмицу после батогов не сможет, — сказала она жестко. — Не юрод он, Иванушка, а вор-изменник, Шемякин слуга, из чернецов чудовских подослан. Учись на людях, Иванушка, и век помни: Богу молись, а чернецам не верь. На всякое они воровство ради кормленья, ради стяжанья пойдут...

— А за что посадские бояр да купцов били?

— А сие, любимик мой, особо запомни. Когда княжить зачнешь, сам поймешь. Токмо не забывай: рыба с головы гниет. Когда князь слаб — ослабление и в народ идет, смуты рождает... Справная, в меру сытая лошадка вожжей слушается, изрядно воз везет, а закормишь — с жиру бесится, не докормишь — со злобы... Ну, голубики, спать вам пора — с ночи поедем...

Внуки пошли к руке Софьи Витовтовны, та перекрестила их и поцеловала на прощанье:

— Храни вас Господь!..

Заря вечерняя потухала уж и багровыми полосами сквозь слюдяные окна тянулась через всю опочивальню княжичей к изразцовой лежанке. Темнело в покоях, но все багряней становились полосы от окон, подымаясь к самому потолку. Княжич Иван лежал с открытыми глазами, то ворочаясь, то слушая ровное дыханье спавшего рядом Юрия, шепот молитвы и шуршанье на лежанке, где примостилась Ульянушка.

Не спится Ивану. Не болит ничего, и страху нет, а только думы разные, и что-то недоброе, грозное чудится, тоской гнетет...

— Ты что, соколик, не спишь-то? — зевая и крестясь, сонно говорит Ульянушка. — Вставать-то ведь до свету...

Услышал Иван знакомый голос, и стало все обычным, а думы и тревоги, как мыши, разбежались и спрятались. Легко ему, и говорить не о чем. Так только, чтоб голос подать, спросил он мамку:

— А Костянтин Иваныч поедет с нами?

— Поедет, соколик, поедет. Со всем семейством поедет: с Матреной Лукинишной и детьми — с Данилкой и с Дарьюшкой. Твой Васюк тоже поедет, а ты спи, сыночек, спи, андел тебя твой охранит. Он, андел-то твой, на правом плече у тебя. Как глазки закроешь, он крылом тебя осенит, и сон сразу придет. Что яблочко на яблоньке, то и ты у нас всех. Спи, соколик, спи...

Слушает Иван, и покой на сердце ложится, путается все в голове. Слышит он уж только голос Ульянушки, словно ручей: лепечет он, а слов разобрать нельзя. Да и впрямь это ручей. Вот бежит ручеек по лугам среди цветов лазоревых, а на бережку он, княжич Иван, на пуховой мураве лежит, и сон его клонит. Только заснул он, долго ли, коротко ли спал, не знает, а видит: жар-птицы летят, а из ручья зверь страшный вылез, в чугунную доску бьет, как сто-рож, на него прямо наступает, хватает его лапами...

Вскочил Иван в испуге — огнем в окна полыхает, а Ульянушка, трясясь вся, кричит и его за плечи дергает. Набат во всех церквах бьют, со всех улиц слышен крик и вопль человечесий и рев испуганного скота. Бросился Иван, стуча зубами, к окну, а у Чудова, против княжих хором, полнеба в дыму и огне, искры и галки по ветру

во все стороны несет, а пламя словно пляшет кругом, шарахаясь из стороны в сторону над тесовыми крышами.

Буря вдруг сорвалась — загудело кругом все, завывало. Словно молнии, огненными полосами заметались по черному небу пылающие головни и летят по всему Кремлю и за кремлевские стены. Занялись почти все посады Заградья. Душно становится от дыма и гари, жаром издали пышет в лицо, и светло, как днем. Гул, шум и набат. Хруст и треск идет от горящих изб и хором, а человеческие вопли сливаются с шумом и грохотом бури.

Дрожит всем телом Иван, а оторваться от окна не может. Видит, целые крыши срывает ветром с теремов и башен, подымает, как огненных змеев, и бросает в улицы и переулки, а там начинает пылать и бушевать новый пожар.

Вдруг запылало совсем близко, дым густой повалил тучей, и на скотном дворе дико заржали и завизжали лошади, громко заревели коровы. Васюк вбежал в опочивальню, схватил Ивана на руки, а Ульянушка Юрия, и так понесли неотетыми. На дворе уж одели среди груженных подвод, согнанных ближе к саду и воротам, где не было никаких строений. Тут стояли обе княгини и Константин Иваныч, посылая то туда, то сюда ключников и подключников. Слуги, как муравьи, бегали по двору, таская добро из хором и подклетей, сгоняя в сад лошадей и рогатый скот.

Светает уж, но зари от огня не видно, да и черный дым, клубясь от бури, заволакивает небо.

— Погребы земляные, — задыхаясь от дыма, налетавшего с ветром, кричит Константин Иваныч ключникам, — погребы полните всем наилучшим! Крыши деревянные ломайте, а творила землей от огня сверху засыпьте.

— Заливай, заливай головню, — доносится по ветру из глубины двора, — сюды вот пала!

— Воды скорей! Давай ведро-то!..

Но ветер меняется, и крики сразу обрываются иглохнут. Рвет бурей одежду, ест дымом глаза, спирает дыхание, и жаром жжет, как от раскаленных углей...

Софья Витовтовна поманила рукой к себе дворецкого.

— Сказывай слугам, — заговорила она поспешно, — княгиня великая, убоясь-де пожара, едет с детьми ко мне на Ваганьково. Если же, не дай бог, хоромы княжии загорятся, то пусть добро и скот туда, ко мне переводят.

— Государыня, — всполошился Константин Иваныч, — ехать ты приказываешь, а где проезд-то есть? Знаешь, что народ деет? А в пожар наипаче все сбились — ни пройти, ни проехать! Из конца в конец мечутся, а старых и малых кони и люди топчут...

— Вели, Иваныч, частокोल разобрать у нашего двора, чтоб нам

в Спасской на Бору монастырь проехать. Аль забыл, что у чернецов ворота в стене есть?..

— Истинно, истинно говоришь, государыня, — не сдавался Константин Иваныч, — а дальше как? Куда побежим? У Володимера, у Мурома татары, а может, и к Москве подходят...

— А мы, — хмуря брови, твердо приказала Софья Витовтовна, — мы в другую сторону лесами пройдем. Татары к нам с востоку, а мы от них на заход!

Старая княгиня нагнулась к уху дворецкого и прошептала:

— К Дмитрову пойдем, а оттуда к Ростову побежим. Владыке и боярам нашим о том ведомо. Многи вчера уж из града вышли со стражей. Ждут нас за Ваганьковом.

До Тушина от Москвы княжой обоз двенадцать верст в три часа прошел — дорога тут добрая, старый тележник, наезженный. Когда же свернули к Дмитрову на лесные дороги, в чащобы дремучие, трудней стало — ехать пришлось нога за ногу. На каждом шагу болота да топи и хоть гати из бревен и сучьев настланы, а к полудню и пятнадцати верст не проехали. И лошади из сил совсем выбились, и люди, вozy вытаскивая, измаялись. Велел Константин Иваныч, не распрягая, лошадей из торб кормить, а людям обедать. Выбрали полянку посуше и станом стали.

Княжич Иван слышал сквозь сон, как обоз остановился, как затихли крики и понуканья, перестали скрипеть колеса. Сразу прекратились толчки, и стало вдруг тихо, и, хотя люди говорили громко, звякали ведрами, а где-то рубили топором дерево для костров, в лесу все это было как-то отдельно и не мешало лесной тишине. Слышно вот даже, как птичка где-то тихонько посвистывает: тюр-люр-лю, тюр-люр-лю!

Иван с трудом открыл сонные глаза и в окно колымаги увидел меж лохматых лап желтых сосен и темных елей знойное синее небо. У самых вершин деревьев, то прячась, то выглядывая из-за ветвей, пробегали черноглазые рыжие белочки с пушистыми хвостами. Иван хотел разглядеть их получше, но непослушные веки снова крепко сомкнулись, словно склеились.

— Иванушка, поешь курничка, — словно из-под одеяла, услышал он невнятный голос Ульянушки и сразу заснул, будто ко дну пошел.

Разбудили его толчки колымаги на бревнах, когда обоз опять переезжал гать.

— Проснулся, княжич? — окликнул его Васюк, сидевший с ним в колымаге. — Сие, друг, тебе не тележник. На такой дороге не токмо живой, а и мертвый пробудится.

Он вдруг дернулся от неожиданного толчка и поспешно выскочил из остановившейся колымаги на дорогу.

— Ах ты, леший ты задери! — ворчал он, подпирая плечом передок колымаги и помогая вознице вытаскивать колесо, завязшее между бревен.

Сев опять на свое место в колымаге, он подвинул к княжичу мелко сплетенный короб и ласково сказал:

— С испугу-то да устали сколь время ты проспал! Мы и лошадей накормили и сами все пообедали, да и выспались. Возьми вот в коробе-то, там тебе мамка Ульяна и курника, и колобков, и баранины с хлебом, да и сулею с медовым квасом принесла...

Иван быстро поднялся, сел, скрестив ноги калачиком, по-татарски, и набросился на еду. Выглянув в окно своей колымаги, он увидел у самой конной стражи колымагу княгинь, в которой ехал Юрий с Ульянушкой и Дуняхой. Позади же его колымаги по-прежнему ехал перед боярским поездом Константин Иваныч с семейством.

Данилка, привстав на колени, выглянул из-за лошади и, увидев Ивана, слегка свистнул и подмигнул ему. Потом мигом соскочил со своей телеги и зашагал рядом с колымагой Ивана.

— Боярские холопы сказывают, — говорил он, торопясь и волнуясь, — малиннику тут страсть! Кругом малина по всей дороге!

— Верно, верно, Иванушка, — подтвердил Васюк, — кустами пройдешь, бают, и рубаху и порты ягодой очервленишь.

— Отпросись у княгинь-то, Иванушка, — нетерпеливо продолжал Данилка, — мы с тобой ведра два наберем за один мах!

Побежали к княгиням.

Софья Витовтовна позволила, а Марья Ярославна даже улыбнулась впервой, как из Москвы выехали, и сказала нерешительно:

— Аль и мне с вами пойти по малину?

— Сходи, сходи, Марьюшка, — ласково одобрила старая государыня, — разомнись, возьми Васюка, что ли, токмо от поезда нашего не отходи в чащобы и глушь — лес-то неизвестной, всякое может случиться...

— Яз Дуняху да Васюка возьму, да...

— Ай и яз пойду, государыня, — вызвался Илейка-звонарь. — Края сии добре знаю. Недаром Костянтин Иваныч из звонарей меня в кологривы приказал, у лошади ныне поставил. Версты две вот проедем, будет справа Клязьма-река. Проедем вдоль нее верст десять — и озеро Круглое, а за ним через три версты и Нерское озеро. На нем село Озерецкое, где и ночлег наш, государыни...

— Ну, идите с Богом, — перебила его Софья Витовтовна. — Вперед обозу зайдите по дороге, к конной страже поближе, а как мы догоним, опять вперед идите. Глядите, токмо бы позади не быть...

Когда Иван с матерью и прочими сошел с проезжей дороги, из бора пахнуло на него со всех сторон сырým лесным духом. И сошной здесь пахнет, и бузиной, и мятой, и всякими травами, а над

головой дятлы пестрые и черные с дерева на дерево перелетают, кору долбят, только стук идет — червяков да жуков ищут. Поползни то вверх, то вниз головой по гладким стволам, словно по ровной земле, бегают. Мелькают в чащах золотые иволги и кричат по-кошачьи...

— Ох, и дух-то легкой какой! — дивуется Дуняха и, всплеснув руками, взвизгивает: — Малинник-то, малинник! Стеной стоит непролазной!

— Сюды, Иванушка, сюды, — кричит Данилка из самой гущи, — страсть ее здесь, малины-то!

С ведром в руках Иван влез в самую гущу кустов, направляясь на голос Данилки. Но скоро остановился, окруженный таким изобилием ягод, что глаза разбегались.

Раздвигая высокие стволы, усаженные тонкими шипами, как щетинками, он непрестанно срывал сочные, душистые ягоды, жадно поедая их одну за другой без разбора, но потом стал выбирать поспелее, а раз, не заметив лесного клопа, взял большущую ягоду-двойняшку, но тотчас же выплюнул ее от воня, наполнившей весь рот. Скоро и совсем перестал есть, а только набирал в ведерко, медленно отворачивая белые книзу листья малины, в гуще которых прятались крупные и сочные ягоды.

Его стали теперь больше занимать медленно ползающие по листьям зелено-золотые жуки и большие желто-золотые коромысла, что кружились, мечась по сторонам, или, трепеща крыльями, висели в воздухе на одном месте. Иван забылся, как в сказке, ни о чем не думая среди неясного шороха в бору и в малиннике.

Вдруг впереди себя он услышал очень уж громкое чавканье. Сначала Иван подумал, что это Данилка ест ягоды, но удивился, что тот очень уж гулко чавкает, даже не похоже, что человек ест. Княжич заробел и в нерешительности остановился. В это время позади него зашуршали кусты, и из них вынырнула Дуняха с полным ведром малины. Оглянувшись на нее, Иван ободрился и смелее шагнул вперед, но, раздвинув кусты, замер от страха: перед ним невдалеке сидел на корточках огромный бурый медведь и, обняв лапами, как сноп, несколько кустов малины, жадно хватал пастью ягоды и обсасывал их. Не успел княжич понять, что происходит, как зазвенело у него в ушах от визга Дуняхи.

— Ме-едве-е-едь! — визжала она не своим голосом на весь бор. — Ме-е-едве-едь!..

Иван видел, как страшный зверь вздрогнул, взмахнув лапами, вскочил и, с шумом ломая кусты, скрылся в малиннике, а Дуняха завизжала еще громче. На крик прибежал Васюк, а за ним Илейка с Данилкой и Марьей Ярославной. Иван все еще стоял неподвижно, крепко вцепившись одной рукой в ведерко, а другой — в кусты малины.

— Какой медведь? — кричал Васюк, трясая за плечи Дуняху. — Где медведь?

Девка перестала неистово визжать, но не могла с испуга и слова выговорить. Иван же, все еще держась за куст, медленно поставил ведро на землю и сказал, указывая дрожащей рукой на приотптаный рядом малинник:

— Здесь малину ел...

— Мати Пресвятая Богородица! — вскрикнула, испугавшись, Марья Ярославна, бросилась к сыну, обняла и заплакала.

— Матунька, матунька, — бормотал Иван сквозь слезы, — да убег медведь! Убег уж, матунька!..

Когда все успокоились, Илейка, сдвинув колпак на затылок, сказал весело:

— Шибко испугался сам-то лесной хозяин. Крику истощного испугался. Чай, его и посейчас несет...

Старый звонарь подошел к измятым кустам и, смеясь, добавил:

— Ну, так и есть! Тут, где сидел, перву свою печать и положил!..

— К матушке надо скорей, — засуетилась Марья Ярославна, — всполошилась, верно, матушка-то от крику. Не знай, что подумает! Берите ведра и айда скорей к поезду...

На другой день из Озерецкого княжой и боярский поезда с первыми петухами тронулись к широкому тележнику, что идет от Москвы прямо к Дмитрову. Круто свернув на восток, успели они к обеду в Выселки, где было положено ждать вестей от отца Александра из Москвы с нарочным, с дьячком его Пафнутием.

— Верст на пятьдесят Москву мы обошли, — говорил княгиням Константин Иваныч, идя рядом с их колымагой.

— А что там, Господи, деется! — сокрушенно вздохнул Илейка, правивший лошадей. — Погорела вся Москва-матушка, окружили ее поганые со всех сторон...

— В Выселках всё узнаем, если отца Пафнутия Господь до нас допустит, — сказала Софья Витовтовна, — отец Александр, коли жив и здоров, отписать обо всем обещался.

— А пошто дьячка отцом зовут? — спросил Иван, сидевший рядом с матерью. — Сану ведь у него никакого нет...

— Из монахов он, мой любимик, — отозвалась старая государыня, — пострижение принял, а потому и отец...

— Приедет Пафнутий-то, приедет, — с уверенностью молвил Константин Иваныч, — что ему! Один, без поклажи, верхом проскачет. Коня ему я доброго дал. Чай, ждет уж нас в Выселках-то...

Дворецкий не ошибся. Когда княгини въехали на двор выселковского попа, то у красного крыльца их вместе с поповским семейством встретил и отец Пафнутий.

Пока накрывали столы к обеду, Софья Витовтовна и близкие все собрались в горнице. Дьячок достал из-за пазухи грамоту отца Александра и протянул ее Софье Витовтовне.

— А ты прочти сам, — сказала та, отодвигая бумагу, — пусть все слушают. Стань к окну ближе, светлей будет.

Отец Пафнутий развернул грамоту и, расправив, положил на край стола, куда сверху от высокого открытого оконца широким снопом падал свет, клубясь от пылинок.

— «Государыни и княгини великие, да буде благословение Божие на вас, — начал читать отец Пафнутий, водя толстым волосатым пальцем по строкам. — Толика моя печаль и скорбень душевное, что и словес не имею. Благо вам, прежде сего горького часа отъехавшим, а нам горше видеть печаль на людях, стенания и скорбь неутешимую. Покарал Господь нас за грехи наши и в один день весь град, посады, казну и товары огнем истребил. И не токмо все в граде, что от древес, сгорело, но и церкви каменные распались и стены градные каменные во многих местах упали. А людей многое множество огнем пожгло: и священников, и иноков, и инокинь, и прочих мужей и жен, и детей, понеже бо отселе из града огонь губителен, а из заградия страх от татар; никто не смел за стену выбежать страха ради пред татарами.

Когда же огонь пожрал все и стало ведомо всем, что вы, княгини великие, с детьми и боярами своими ушли, граждане в великой скорби и волнении были, видя, что и остальные богатые все да знатные из града сгоревшего бежать хотят. Чернь же, совокупившись в силу единую, начала стены ставить упавшие, врата градные из бревен рубить новые, а хотящих бежать начали бить и ковать в цепи. Так сразу волнение и остановили, и все граждане стали град крепить, а себе пристрой домовные строить, дабы в осаде жить где было. Поганых же агарян с часу на час ждем.

Болью и скорбью душа моя истязается, слезы ми очи застилают, как помыслию о вас и княжичах, о князе великом, о граде и всей земле Московской. Спаси, Господи, и помилуй люди Твоя! Ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Раб Божий Александр челом бьет».

Голос отца Пафнутия, медленно разбиравшего слова, дрожал и не раз пресекался от волнения, а княгини и прочие плакали.

Вдруг Софья Витовтовна в гневном великом топнула об пол ногой и воскликнула:

— А все зло от Шемяки идет окаянного! Тогда бы на свадьбе Василия не отымать надо было у Васьки Косого великокняжский пояс-то, а удавить их поясом этим обоих с Шемякой!..

Глава 3
У ТАТАР

Василий Васильевич проснулся от нестерпимой боли. Жгло ему затылок и шею, а в пальцах правой руки, как ножами, резало. Открыв глаза, увидел он, что лежит на полу монастырской кельи. Серый еще рассвет, словно в щель, мутной полосой врывается в длинное узенькое окошечко, пробитое в толстой каменной стене. В углу, против князя, висит темный образ и теплится синяя лампадка.

Василий Васильевич хотел перекреститься, но не мог поднять руку. С трудом повернул он завязанную тряпицами голову и, терпя лютую муку, все же осмотрел свои раны. Правая рука была обмотана куском окровавленного холста выше локтя, такая же завязка корой засохла на пальцах. Здоровой левой рукой он пощупал эту завязку и, с усилием прогнув ее, нащупал, что двух пальцев не хватает. Вдруг от нажиманья поднялась в руке сразу такая боль, что все помутилось в глазах великого князя, и он без памяти упал головой на жесткое изголовье.

Очнулся он, когда седебородый монах с молодым послушником обмывали и перевязывали ему раны. Боли от обмывания и мазей почти совсем стихли.

— Княже, — ласково говорил монах, обертывая раны, — зело крепко ты еси и млад, и раны твои скоро исцелятся. Верь мне — старый я воин, еще отцу твоему служил в ратях и от юности научился добре врачеванию ран...

Великий князь слегка улыбнулся и промолвил слабым голосом:

— Отец Паисий, да благословит тебя Господь. Узнал тебя, отче. Где же яз и где брат мой, князь Михайла Андреич?

— В Ефимьевом, княже, монастыре, — ответил печально отец Паисий, — и царевичи тут обое: Мангутек и Якуб, а Касим к отцу поехал с сотником Ачисаном. Сотник-то на Москву ездил, твои тельники княгиням отвозил, а государыня Софья Витовтовна, слышь, окуп вельми щедрый обещала за тебя, княже...

Василий Васильевич закрыл глаза.

— Дам потом монастырю кормы многие, земли и льготы, — сказал он тихо, — молитесь Бога обо мне, а сейчас князя Михайлу видеть...

— Еще спит он тут же в келье, княже.

Монахи вышли, а князь неподвижными, широко открытыми глазами, словно потеряв все мысли и чувства, смотрел на порозовевшую полосу света и слушал, как, просыпаясь, шумит монастырь. Вдруг из-за дверей, где стража стоит, до него ясно донеслась громкая татарская речь.

— Царевичи говорят, — услышал он, — что Москва богаче всей

Золотой Орды и князя своего любит, а князь храбр и бьется, как барс. Они согласны на окуп.

— А что вот Улу-Махмет скажет, — ответил другой голос, — сердит он на князя московского...

Звон колоколов к ранней обедне заглушил слова говоривших. Василий Васильевич, чувствуя себя лучше после перевязки, медленно поднялся и встал на колени.

Помогая себе здоровой левой рукой, он поднял правую и перекрестился на икону, висевшую в углу кельи. Потом, обливаясь слезами, распростерся ниц и в скорби великой, с рыданием, воззвал:

— Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты еси спасение рода христианского!

Успокаиваясь, услышал князь великие рыдания рядом с собой и, подняв голову, увидел распростертого князя верейского, Михаила Андреевича, брата своего двоюродного.

— Брате любезный, — сказал Василий Васильевич с тоскою, — оба мы с тобой пьем теперь от горькой желчи, от плена татарского! Будем же настоящими братьями да николи зла друг против друга не помыслим!

— Истинно, брате мой старшой, — ответил князь Михаил, — как крест тебе и сыну твоему целовал, так и буду верен до конца живота своего. Ведь отец Шемяки-то, Царство ему Небесное, когда Москву взял, силой меня за себя крест целовать принудил! Шемяки же ты бойся...

— Знаю, — перебил его Василий Васильевич и продолжал властно: — Дам татарам, какой хотят, окуп и за себя и за тебя... Матерь моя опустила уж мне в яму сию конец веревки. Вылезем, брате. Будешь верен мне, многие льготы получишь от дани татарской, и добавлю тебе волостей в Заозерье...

— Вышгород бы мне, брате, — нерешительно попросил князь Михаил, но великий князь продолжал сурово, будто и не слышал его просьбы:

— Ныне нам ина гребта-забота. В Золотой Орде яз, еще малолетний, видел, как верный тогда слуга нам Всеволожский Иван Митрич подарками да посулами, поклонами да прелестью всякой утвердил за мной великокняжий стол...

— Уласкал он тогда покорностью царя Улу-Махмета, яко коня норовистого, — подтвердил Михаил Андреевич, — а Юрий Митрич-то ничего не сумел, напрямки ломясь, требуя свое по старине да по духовной грамоте.

Василий Васильевич нахмурился и, вздохнув, заметил с досадой:

— Тогда Всеволожский-то на приказы да ярлыки царские ссылался, Москву татарским улусом называл, великое княжение мое —

царским жалованьем! Вспомнит царь теперь о том, когда брат его, узнав, что яз помощи не дал, на него же ратью пошел...

— Вيني в том Юрьевичей: они вышли из твоей воли и самоchinно много зла деяли, а когда дурак кашу заварит, и умный не расхлебает...

— Хитростью да посулами вызнать теперь же надо, — перебил его Василий Васильевич, — есть ли мир и согласие у царя с царевичами, али есть в чем у них пререкания и спор...

— Татары не посулы, а бакшиш любят, — вздохнув, возразил Михаил Андреевич, — не с пустыми руками в Орду ездят...

Оба князя сокрушенно замолчали, но великий князь усмехнулся вдруг и почти весело промолвил:

— А мы через попов да чернецов втайне серебреца да золотца наберем. Хватит татарам и на рушвёт и на бакшиш! Давать-то будем не всем, а малому числу, сильным токмо, ибо мал квас, а все тесто квасит...

Через три дня царевичи, получив приказ Улу-Махмета, пошли с войском из Суздаля ко Владимиру. Сам царь, поручив начальствование старшему сыну Мангутеку, пошел прямо к Мурому.

С пленными князьями царевичи были милостивы — везли их на скрипучей арбе под плетеным шатром, покрытым белым войлоком. Арбу их тащил огромный нар — верблюд двугорбый с длинной черной гривой.

Оба князя лежали рядом и молча смотрели через отверстие шатра в безоблачную синеву неба или дремали. Говорить было трудно из-за шума великого от криков людей, ржання коней, скрипа колес, блянья баранов, рева быков и верблюдов.

Хотя войско татарское двигалось шагом, а высокие колеса арбы легко перекатывались через бревна гатей и выбоины, Василий Васильевич все же терпел боли от толчков и с завистью смотрел, как спит рядом с ним Михаил Андреевич. Порой, когда дверной войлок у шатра приоткрывался, Василий Васильевич чувствовал запах дыма, подгорелых лепешек и вареной баранины. Голод мучил его — приближался полдень, время молитвы «зухр» и обеда. С нетерпением он ждал, когда азанча прокричит свой «азан» из походной мечети.

Не выдержав, великий князь приподнялся с ложа и, слегка отогнув дверной войлок, чтобы не привлекать внимания конной стражи, стал смотреть на идущее войско. Далеко впереди, за тучей пыли, шли сначала на рысях конники, но теперь они замедляют движенье, видимо, поджидая обозы. Арба русских идет в первом обозе, и Василий Васильевич хорошо видит поблизости многие арбы с нарядными шатрами из ослепительно белого или черного, как сажа, войлока, расшитого всякими цветными узорами. Из раз-

ных пестрых тканей и войлока на черном и белом поле шатровых полотнищ изображены и деревья, и цветы, и виноградные лозы, и птицы, и звери. Это — шатры царевичей и жен их. Вокруг них теснятся, сопровождаемые пешими и конными рабами, вооруженными мечами и палками, арбы с кибитками из прутьев с плотной крышкой из черного войлока, пропитанного насквозь овечьим молоком или салом, чтобы не промокало от дождя. В этих кибитках возят татары всю утварь, одежды и всякие свои драгоценности. Около царских шатров идут пешком и едут верхом молодые и старые женщины — служанки цариц. Дальше, за походной мечетью, которую на огромной повозке везут десять быков, двигаются шатры и кибитки начальников войска и их жен, походные поварни, пекарни, кузницы и прочие заведения, нужные войску.

Все это, замедля ход, громоздко тянется по дороге и по полям рядом с дорогой и походит на движущийся со всеми жителями татарский улус, и даже, для вящего сходства, дым от очагов медленно ползет из многих шатров, извиваясь в неподвижном знойном воздухе.

Жарко и душно. Тени стали уж совсем короткими и прячутся у самых колес повозок и под ногами коней. Солнце стоит прямо над головой, а на закраях полей воздух дрожит, будто переливается над землей водяными струйками.

Вдруг, покрывая уже затихающий шум войска и обозов, где-то вблизи звонко и отчетливо запел резкий гортанный голос:

— Ля-илляхе иль алла Мухаммед Расул Улла¹.

Всадники и повозки сразу остановились, где застал их азан, люди стали привязывать и путать коней, опускать на колени верблюдов, поручая их рабам-иноверцам и женщинам.

Остановилась и арба пленных князей. Старый татарин, желая скорее освободиться от заартачившегося верблюда, рванул его с досады за веревку, вдевая в носовое кольцо.

Огромный нар яростно заревел от боли и в бешенстве заплевал своего вожатого.

— Кууч итэ!² — злобно закричал татарин и отбежал прочь, ругаясь и обтирая лапами халата лицо и шею.

Нар остался гордо стоять, встряхивая головой и свирепо следя за своим погонщиком, пока тот не скрылся в толпе, спешившей на молитву...

Все правоверные уже готовились к омовеньям, и каждый выбирал себе такое место, чтобы обратить лицо во время намаза на Восток, к священному городу Мекке.

Постепенно стихло все становище, и Василий Васильевич ус-

¹ Нет бога, кроме бога, а Магомет пророк его.

² Собачье мясо!

лышал позади себя густой храп. Разбудив князя Михаила, он сказал ему:

— Сей часец намаз у них полуденный — зухр. Потом обедать будут. Нам тоже пришлют ествушки, а по ней мы узнаем, как они нас чтут. Токмо не забывай, брате, одного — скрыть пока надо, что яз добре разумею татарскую речь. Будем, как и ране, через толмача говорить с татарами, дабы они, говоря меж собой, меня не остерегались...

На этот раз татары торопились к граду Владимиру, и пища у них была приготовлена еще в пути, на арбах. Шатров же не снимали на землю, кроме царских. После обеда войско должно было выступать в поход без замедления. Так понял Василий Васильевич из приказаний десятников, кричавших с коней своим людям, охранявшим обозы.

— Торопятся татары-то, — сказал он Михаилу Андреевичу, — уж не к Москве ли хотят? Вызнать бы все поскорее! Бакшиш опять нужно дать...

— А много ль осталось у нас от даров-то Ефимьева монастыря? — печально заметил князь Михаил. — Зря мы Ачисану кубок серебряный дали да чарку...

— А яз ему еще и золоченую чарку дам, — строго и сердито проговорил Василий Васильевич. — Время мне дороже серебра и золота! Ежели царевичи али Шемяка казну мою на Москве захватят, кто нас с тобой у татар выкупит? Надо матери весть скорей послать...

— Ну, за старую-то государыню, — возразил князь Михаил, — страху у меня нет. Ни Шемяка, ни татары ее не обманут. Она, поди, со всем семейством твоим и казной давно из Москвы выбежала.

— Дай-то Бог, — уже спокойнее отозвался Василий Васильевич.

Свершив полуденный намаз, снова зашумели татары по всему стану — поили коней, обедали, пили кумыс. Шумели, однако, недолго. Солнце пекло и, размаривая, манило к привычному послеобеденному сну. Постепенно стихало кочевое становище, и только кое-где еще тянулись лениво в знойном воздухе однообразные, как степи, бесконечные татарские песни и сонно жужжали, вторя им, маленькие кобызы, крепко зажатые в зубах степных музыкантов.

Коршуны и ястребы кружили над стоянкой, высматривая отбросы. Иногда тень птицы стремительно проносилась над станом, словно чертила углем по сухой траве и белой кошме шатров.

Вдруг совсем близко зазвучал тихий, молодой голос, и полилась, как ленивый ручеек, степная печальная песня. Защемило сердце Василию Васильевичу, слезы навернулись на глаза, а в мыслях повторялись простые слова:

Жёлтый-желтый, изжелта-желтый, желтый цветок на стебельке;
Так и я от тоски пожелтею, да и как не желтеть, когда нет вести
с приветом.

Вспомнилась великому князю его Марьюшка с большими темными глазами, и сыночки любимые, и старая матушка, и Кремль, и храмы Божии...

Замирает сердце от боли и тоски, но держит себя князь — не годится все плакать, надо из беды выпутываться.

— Не мыслю, что пришлют сегодня нам поесть, — печально говорит князь Михаил. — Хоть бы краюху сухого хлеба...

— Не доброе знаменье, — добавляет Василий Васильевич. — Боюсь за Москву и за семейство...

Затопали кони около арбы князей, прискакал сотник Ачисан с тремя нукерами. Перелез с коня Ачисан на арбу, поднял войлок у дверей шатра и приветливо крикнул по-русски:

— Князь великий, «салям» тебе от царевича Мангутека и угощение от стола его...

— Да живет хазрет¹ Мангутек два девяноста лет! — воскликнул Василий Васильевич. — Друзья его — наши друзья, враги его — наши враги!

— И вы, князья, живите сто лет, — ответил Ачисан и, вползая в шатер, весело крикнул своим нукерам по-татарски: — Давайте сюда жалованное ханом!

Он поставил на кошму перед русскими пленниками дымящийся котел с вареной бараниной, несколько испеченных в золе пшеничных лепешек и большой кувшин с кумысом. Василий Васильевич в знак вежливости и благодарности приложил руку ко лбу, к устам и к груди, поклонившись Ачисану. Потом он достал из-за пазухи серебряную золоченую чарку и поставил ее перед молодым сотником. Михаил Андреевич достал из-под кошмы две простые деревянные чарки — себе и великому князю.

Василий Васильевич вынул из котла лучший кусок мяса и, положив его на лепешку, передал Ачисану. Делая все это, великий князь думает, за чье здоровье пить с Ачисаном — за царя Улу-Махмета или царевича Мангутека? Пока ели баранину, он несколько раз переглядывался с Михаилом Андреевичем. Руки у него дрожат, а в груди холодок бегаёт. «Ошибиться нельзя, потом не поправишь», — вертится у него в мыслях, а выбора никак он сделать не может.

Давно он уже почуял, что у царевича старшего нелады с отцом, а кто вот сильней из них окажется? Да и кому Ачисан по-настоящему служит? Василий Васильевич с тревогой смотрит, как быстро съедает сотник баранину, приближая время здравицы. Задержать нельзя ему трапезу, а и решенья все еще нет.

Выбросив объеденные кости из шатра прямо на землю, Ачисан уже трижды отрыгнул из вежливости и обтер жирные пальцы о голенища сапог. Доели и князья свою долю. Тряхнув головой, зажму-

¹Хазрет — почетный титул, господин.

рил на миг глаза великий князь и схватился за кувшин с кумысом, а когда налил всем в чарки, то вдруг сорвалось у него с языка само собой:

— Да будет удача хану Мангутеку в делах его! Да не отступит никогда от него счастье!

Великий князь вдруг помертвел весь, когда увидел засверкавшие от смеха глаза и белые зубы Ачисана, но сейчас же оживился, услышав ответ молодого сотника:

— Да будет так! Потерпим. Терпение — ключ счастья, а без счастья и в лес по грибы не ходи!..

— Что будет, то будет, как Бог даст, — сказал Василий Васильевич и добавил: — Ежели царевичи верят в дружбу нашу, то пусть соединятся с нами — сие для всех нас будет добро...

Ачисан нагнулся к великому князю и тихо сказал:

— Бойся царя Улу-Махмета, но помни — кусаются комары до поры. Придет пора и Улу-Махмету.

Когда выпили кумыс, Василий Васильевич спросил Ачисана:

— Где так хорошо научился ты говорить по-русски?

— Отец мой от Золотой Орды много лет торговал конями в Твери, — ответил Ачисан, подымаясь с кошмы.

— Чарку свою забыл ты, Ачисан, возьми ее на память. Сие — подарок.

Приняв золоченую чарку и приложив ее к сердцу, Ачисан поклонился и сказал:

— Бик куб ряхмет¹, государь, за дорогой подарок. Жди через меня добрых вестей, да поможет тебе Аллах и святой Хызр. Царевичи любят тебя...

Он помолчал, улыбнулся и, глядя прямо в глаза великому князю, добавил совсем тихо:

— Надейся, княже, на хана Мангутека. Улу-Махмет — да живет он сто лет — голова, а молодой хан Мангутек — да будет беxмет² во всех делах его — шея! Шея же, государь, может повернуть к тебе голову лицом, а не затылком...

Василий Васильевич понял намек и, чтобы крепче в том утвердиться, сказал усмехнувшись:

— А яз вот вам себе и голова и шея, да только не знаю, что раньше случится: можно или голову, или шею свернуть. Все в руках Божиих.

Говоря это, смотрел Василий Васильевич пытливо в застывшее сразу, словно окаменевшее лицо ханского сотника. Тот молчал, но в глазах его вспыхивали искорки, и вдруг лицо татарина заулыбалось, а косые глаза совсем спрятались в узеньких щелках.

¹ Очень благодарен.

² Счастье.

— Умен ты, княже, — воскликнул Ачисан, — и видишь многое, что и в Орде не все видят! Знай токмо, если шея молода да крепка, ее не свернешь, а если голова, хоть и не стара, но худа, то легко ее потерять.

Василий Васильевич утвердительно кивнул головой, потом снял с пальца золотой перстень с дорогим яхонтом и, подавая его Ачисану, сказал:

— Бью челом брату моему, хану Мангутеку.

Татары, разбив под Суздалем московское войско и пленив великого князя, все же действовали весьма осторожно. Перейдя реку Клязьму у Владимира, царевич Мангутек стал станом у самых стен его, но на приступ идти не решался. Узнав же от лазутчиков, что владимирцы биться готовы насмерть, в эту же ночь повернул Мангутек коней к Мурому, пошел к царю Улу-Махмету.

Русские князья уразуметь не могли, что происходит в Казанской Орде.

— Не берет сила поганых, — говорил князь Михаил, — а награбили у Суждаля много да по пути сколько сел полонили. Боятся награбленное растерять. На нас вымещать будут...

Василий Васильевич молчал. Четвертые сутки, катаясь по войлочному полу шатра, тщательно вспоминал он под скрип арбы, влекомой злобным нарком, все, что слышал из разговоров татар, что понял из намеков Ачисана. Многое из умыслов и дел татарских казалось ему знакомым, таким, как на Руси бывает, где враждуют друг с другом: отцы с детьми, дяди с племянниками, братья с братьями.

— А может, — заговорил он раздумчиво, — Мангутек, идя на отца, полки свои против него готовит, силы свои бережет...

— А нам-то что, — отмахнулся князь Михаил. — Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Будет нам в чужом пиру похмелье: и слева будут бить, и справа будут бить!..

Василий Васильевич усмехнулся.

— Вспомнил яз мать свою, Софью Витовтовну. Она бы тебя за вихры отодрала за «чужих» собак да за «чужой» пир! Что бы у чужих ни случилось, война или мир, добро или худо — все должно идти Москве на пользу. Для Москвы везде все свое. «Сумей, — говорил мне один отцовский боярин, — во всяком чужом деле свое найти».

При этих словах дверной войлок отодвинулся, и в шатер просунулась голова сотника Ачисана.

— Слышал я твои, княже, слова, — сказал он, усмехаясь, — верно это. Наш любимый хан Мангутек, да живет он сто лет, так же говорит о своем и чужом. В Муроме, вон уж видать его, отведет тебе, княже, чистую горницу, и хан пришлет к тебе брата своего

Касима. Царь Улу-Махмет там уж с войском стоит, но ты не беспокойся. Если что нужно тебе наместнику твоему и воеводе передать либо попам, скажи мне...

Князя переглянулись, и Василий Васильевич весело ответил:

— Пришли мне дьякона из церкви Кузьмы-Демьяна, отца Ферапонта.

Ачисан слез с арбы и ускакал со своими нукерами догонять хана Мангутека, ехавшего впереди войска с лучшей своей тысячью.

Выглянув из шатра, Василий Васильевич увидел на высоком левом берегу Оки хорошо знакомый ему деревянный муромский кремль за крепкими дубовыми стенами с проезжими и глухими башнями. Ниже кремля видно было муромский посад и слободы ремесленников, а кругом шатры татарские и обозы.

Ранняя июльская заря румянила речную гладь, весело играла на тесовых кровлях и багровила дым печной — христиане уже проснулись, готовили пищу, — а солнце еще и не показывалось.

У татар — это самое время для утренней молитвы. Звонко вот в свежем воздухе уже разносится азан, и войсковой обоз царевичей постепенно затихает и останавливается, останавливаются один за другим и отряды конников...

После намаза вдоль всего берега реки запылали и задымили костры. Войска присоединились к войскам, окружавшим муромский кремль, а царевичи и начальники войска разместились в лучших хоромах муромского посада.

Великого князя с князем Михаилом поместили у богатого, еще молодого муромского купца Сергея Петровича Шубина, торговавшего с булгарами на Каме и с Золотой Ордой на Волге. В его хоромах все было богаче и лучше, чем у многих подручных князей Василия Васильевича.

Умывшись и обрядившись, князя прошли с хозяином в крестовую, куда татарская стража не входила, оставаясь у дверей. Помолившись с земными поклонами, князя и хозяин приложились ко кресту и иконам. Потом Сергей Петрович поклонился до земли великому князю.

— Господин и государь мой, — сказал он, откидывая после поклона упавшие на лоб кудри, — благодарения ради отпоем мы Господу Богу в сей часец молебен о твоём здравии и спасении из полна. До обеда мы тут побеседуем о делах твоих. Муром татары не трогают, но наместник твой и воевода в кремль их не допускают...

— Подождем здесь, в крестовой, отца Ферапонта, — молвил Василий Васильевич. — Ачисан хотел его сам позвать...

— Ведомо мне о сем от Ачисана, государь мой, а посему и повею тебя в крестовую, дабы от татар быть подальше.

Василий Васильевич задумался и, крутя свою курчавую бороду, молча сел на подставленный ему столец. Против него почтительно

стоял высокий и статный Сергей Петрович в нарядном кафтане со тканными по нему золотом львами. Василий Васильевич взглянул на него и улыбнулся: густая пушистая борода у Шубина точь-в-точь, как у князя Михаила Андреевича, и такая же, как лисья шерсть, рыжая.

— Что ж, Петрович, — ласково промолвил великий князь, — сказывай, о чем твои мысли.

— Государь мой, — заговорил Шубин, — вороги твои в вину тебе ставят не токмо твою дружбу с татарскими князьями, а даже твое разумение татарской речи...

— Ну, а ты? — резко спросил Василий Васильевич.

— Я понимаю твои умыслы, государь, а потому стою за дружбу не токмо с князьями, а и с царевичами казанскими. Нам надобно, как в старинах поется про Илью Муромца: «Стал ён бить татар тарином...»

Василий Васильевич весело рассмеялся и громко сказал Шубину:

— Верно, Петрович! Вся суть в сем. Отец мой, Василий Митрич, литовских князей ласкал да вынашивал на Литву, как соколов на лов, а яз татар хочу...

В сенцах перед крестовой гулом прокатилось могучее откашливание и кряканье.

— Отец Ферапонт! — обрадовался великий князь.

В горницу вошел богатырь с длинной черной бородой, с густыми усами и такими же густыми бровями. Он снова громко крякнул, и в ответ ему что-то зазвенело в покоех. Истоиво помолвившись на иконы, поклонился он князьям и хозяину.

— Будь здрав, государь Василь Василыч, — прогудел он, словно в большую трубу, — и ты, князь Михайла Андреич, и ты, Сергей Петрович...

Из-за огромной спины дородного отца Ферапонта вытянулось на длинной шее морщинистое бородатое личико маленького, сухонького попака.

— Не реви ты, медведь, — ласково попенял попик отцу дьякону, — оглушил ты всех, яко Соловей-разбойник!

Отец Ферапонт смутился и виновато улыбнулся, пропуская попака. Тот скромно выступил вперед и быстро поклонился князьям, мелькнув перед глазами белой пушистой, как одуванчик, головкой.

— Аз есмь раб Божий Иоиль, — сказал он, — иерей и настоятель храма святых отец наших Космы и Дамиана.

Князья подошли к нему под благословенье, а потом и хозяин хором, поклонившийся отцу Иоилу с особым почтением.

Василий Васильевич впервой видел маленького попака, и голос отца Иоиля умилил его.

— Княже, — с ласковой грустью говорил попик, глядя в лицо

Василию Васильевичу большими, по-детски ясными глазами, — князь наш великой московской, не сокрушайся. Бог нам всем поможет. Сын мой духовной Сергей многое откроет тебе, государь, а также спасения ради и на благо всего христианства русского и аз, раб Божий...

Отец Иоиль низко поклонился Василию Васильевичу, коснувшись правой рукой самого пола крестовой, и продолжал:

— Коли угодно тебе, государь, совет держать, то почнем беседу до молебной, пока царевич Касим не пришел... И скажи, государь, как раны твои и как здравие?

— Раны мои по милости Божией затянулись, — сказал Василий Васильевич, — здравие слава Богу, — хожу, видишь. Ноги-то у меня целы были, а на темени и шее хотя болит, но уж совсем заросло. Токмо вот пальцы обрубленные кровоточат еще. Правду предрек мне отец Паисий в Ефимьевом монастыре, и мази его вельми добры. Ими токмо и облегчение знаю...

Великий князь помолчал и, оглядев суровыми глазами обоих духовных и Шубина, вдруг гневно спросил:

— А как же сие случилось, что татары Муром наш не воевали, и вам всем ни зла, ни полона не содеяли? Ни посада, ни слобод не жгли, а князя великого в полоне держат?

Великий князь ярый, но отходчивый. Порой он вдруг распалялся и все более ярился, готовый убить даже, но чаще стихал неожиданно, и гнев враз отходил от его сердца.

Зная об этом, отец Иоиль спокойно и молча стоял, не спеша с ответом. Шубин же, оробев, поклонился до земли и заговорил:

— Государь великий! Воевода твой, ведая о полоне твоём, с благословенья отцов духовных челом бил царю Улу-Махмету об окупе, дабы он ни граду, ни посадкам, ни слободам зла не чинил. Сам же наш воевода ворот татарам не отворял. У воеводы твоего и войско, и пушки на стенах стоят, и стража денно и ночью смотрит...

Тут совсем оробел купец и смолк. Потом, снова кланяясь земно и обращаясь к седовласому попику и к дьякону, молвил:

— Отцы, скажите все князю великому, что думой нашей удумано и что у татар деется! Вы же люди ученые, книгами начитаны...

Отец Иоиль поправил спокойно крест на груди и, обратясь к Василию Васильевичу, начал голосом ровным и тихим, якобы продолжая свои, а не купцовы речи:

— Царь же Улу-Махмет, хотяще три тысящи рублей, отступился потом и токмо едину тыщу взял. Сведав о том, что уразумели, что царю нужны и деньги и вои, а сведая еще и о том, что Улу-Махмет отделился от сыновей своих...

— Старшего, Мангутека, боится он, — вставил Василий Васильевич, усмехаясь. — Мангутек же на отца идет, силы копит.

— То же и нам ведомо, государь. Посему решили и мы свои силы хранить и дали окуп за Муром...

Отец Иоиль помолчал и, строго посмотрев на великого князя, добавил:

— А тебе, государь, зело много нужно хитрости и разума, дабы из полона тебя отпустили. Изгони из себя ярость и скороверность всякую, чтобы татары умыслы твои не признали. А мы же тебе, княже, две тысячи рублей да сосуды золотые собрали на бакшиш и рушвёт. Разумно твори все. Семь раз отмерь — один раз отрежь. Ачисану верь, а об Улу-Махмете помни. Царь тоже не без ушей и не без глаз...

— Ачисан-то и меня сюда позвал, — не выдержав, загудел отец Ферапонт, — а я без отца Иоиля не пошел, княже. Деньги же и сосуды у меня, вот они...

Шубин в испуге замахал руками на отца Ферапонта, показывая на двери. Дьякон зажал рукой себе рот и робко оглянулся на отца Иоиля, а купец, оправившись от волнения, тихо сказал великому князю:

— Пусть, княже, татары грызутся, а мы будем...

— Бить татар татаринном, — весело усмехнулся Василий Васильевич, пряча за пазуху и по карманам все, что, оглядываясь на двери, украдкой передавал ему дьякон.

Подходил уже к концу молебен о здравии великого князя и освобождении его из полона.

Густой голос отца Ферапонта зычно гудел, рыканьем львиным громыхая по всем хоромам.

— Бугай, настоящий бугай, — дивовались нукеры из стражи, теснясь к дверям крестовой.

— Да и у бугая горла на такой рев не станет, — говорил десятник, причмокивая от удовольствия. — Ишь, ишь, как ревет! Он и самого голосистого азанчу заглушит.

Василий Васильевич с умилением слушал своего любимца, которого за голос хотел давно уж у владыки в Москву просить, да за недосугами и бранями не успел. Стоя на коленях, усердно молился он о своем спасении, а когда пошел приложиться к кресту, услышал шум в сенцах и говор татар. Шубин последним принял благословение отца Иоиля и, быстро выйдя в сенцы, тотчас же вернулся. Кланяясь низко, пригласил он князей к трапезе и, обратясь к великому князю, тихо добавил скороговоркой:

— Царевич Касим дошел к нам. Тобя, государь, хочет... В покое моем у стола, увидишь, поставцы стоят — возьми там, не обидь, кубок фряжский с камнями. Дай его от себя царевичу Касиму...

— Спаси Бог тебя на добром деле, — промолвил великий князь, — послугу твою не забуду...

— Не гости хозяину, а хозяин гостям челом бьет, — поклонившись, сказал Шубин и повел всех в трапезную.

В трапезной царевич Касим сидел за столом на скамье, а у ног его на блеклом персидском ковре сидел Ачисан. При входе великого князя Ачисан быстро вскочил на ноги. Царевич Касим, еще молодой человек со светлыми подстриженными усами и маленькой бородкой, тоже поднялся со скамьи и поклонился Василию Васильевичу.

— Ассалям галяйкюм¹, — проговорил он почтительно.

— Вагаляйкюм ассалям², — ответил великий князь и пригласил царевича к столу хлеба-соли откусать.

Отец Иоиль, благословив князей и Сергея Петровича, удалился вместе с отцом Ферапонтом, а сотник Ачисан встал позади царевича — он оставался при трапезе толмачом. Сам хозяин тоже не сел за стол, а вместе с дворецким своим обслуживал князьям и царевичу.

Когда выпили из кубков заздравных заморского доброго вина за здоровье царя казанского и великого князя московского, за царевичей, за князя Михаила, царевич Касим сказал, улыбаясь:

— В конце твоей, княже, молитвы, — переводил его слова Ачисан, — услышал я здесь такой великий и грозный голос, какого никогда я не слышал.

— Хочу яз его, — смеясь, ответил Василий Васильевич, — если Бог даст, в Москву к себе взять. Многих из дьяконов слушал, поскольку к пенью церковному задор великий имею, а такого голоса, как у отца Ферапонта, даже и яз не слыхивал...

Великий князь за столом развеселился, царевич Касим ему нравился, а кроме того, мерещилось ему, что Касим хочет сказать многое, да Ачисан мешает. Раненный и в полон взятый, Василий Васильевич шутил и смеялся, как дома у себя на пиру. Всегда такой был он открытый: и в гневе, и в радости, и в печали. Любили его за это.

— Люб ты мне, княже, — сказал царевич, — радостно с тобой хлеб-соль делить...

Василий Васильевич ласково улынулся и, прежде чем Ачисан успел перевести его слова, неожиданно заговорил по-татарски, как настоящий татарин:

— Люб и ты мне, царевич! Ты видишь меня в несчастье, а в счастье я буду еще веселей и гостеприимней. Жизнь наша изменчива. Бугэн миндэ, иртэгэ синдэ³. Судьба каждого в книге Фальнаме⁴, да не каждый толкователь гаданий может угадать судьбу.

Касим и Ачисан переглянулись с изумлением. Великий же князь, видя это, усмехнулся и продолжал по-татарски:

¹ Мир с тобой.

² С тобой мир.

³ Сегодня это — со мной, завтра — с тобой!

⁴ Книга гаданий.

— Я же и не люблю гадать, ибо сказано еще: «Мы привязали к шее каждого человека птицу...»¹

— Ты говоришь так хорошо и красиво, — воскликнул царевич Касим, — словно долгие годы сидел у ног улемов².

— Памятлив я очень, — смеясь, сказал Василий Васильевич, — и помню все, что слышу и вижу...

Встав из-за стола и подойдя к поставцу, он достал оттуда кубок итальянской работы с камнями и подал его, поклонившись, царевичу.

— Бью челом тебе, а будешь гостем у меня на Москве — встречу, как друга...

Царевич поблагодарил, потом, улыбаясь, обратился к великому князю:

— Брат Мангутек будет рад поговорить с тобой без толмачей. Он любит говорить быстро, а хуже нет, когда о твоих мыслях говорит чужой рот. Мы с тобой сей же час поедем к брату. Ачисан опередит нас, скажет хану Мангутеку, что мы придем следом...

Ачисан молча поклонился и вышел. Царевич Касим проводил его взглядом и, выждав некоторое время, сказал тихо Василию Васильевичу:

— Знаю я, что тебе ведомо о спорах брата с отцом. Любя тебя, скажу: берегись ты и Улу-Махмета и Мангутека. Мы с Якубом стоим в стороне. Нам обоим лучше уйти от них, и мы хотим твоей дружбы и помощи и сами поможем тебе...

Царевич быстро выхватил кинжал из-за пояса своего турецкого кафтана и взял его одной рукой за конец клинка, а другой — за конец рукоятки.

— Клянусь на том Аллахом! — воскликнул он и приложил ко лбу клинок кинжала и потом поцеловал его. — Только смерть моя и твоя воля могут нарушить эту клятву!..

Спрятав кинжал, он встал из-за стола и добавил:

— Нас не должен долго ждать хан Мангутек. Я проведу тебя, князь, в братнин шатер, что стоит в поле среди шатров его тысячи.

У ханского шатра царевича Касима и Василия Васильевича встретил Ачисан. Откинув белый дверной войлок, расшитый цветными узорами — зверями и птицами, — ханский сотник пригласил войти великого князя московского. Следом за ним вошел и царевич Касим. Молодой хан встретил их, сидя на пушистом ковре среди шелковых подушек.

¹ Изречение Магомета, смысл которого таков: «Мы дали каждому человеку определенную судьбу».

² «Сидеть у ног улемов (учителей)» — получать мусульманское богословское образование.

Князь и царевич низко поклонились ему, и Василий Васильевич сказал:

— Ассаям галяйкюм, хазрет Мангутек, брат мой...

— Вагаляйкюм ассаям, — милостиво ответил Мангутек и пригласил вошедших сесть.

Василий Васильевич последовал примеру Касима и сел слева от входа на кошму перед ковром хана. Несколько мгновений длилось молчание, и великий князь внимательно рассматривал острое хищное лицо Мангутека, мало схожее с лицом Касима. Молодой хан шурил злые рысьи глаза и ласково улыбался.

— Спасибо, князь, — сказал он, наконец, — за подарки, особенно за перстень с этим красивым кровавым яхонтом. Думаю, камень этот из Индии.

— Говорят, — ответил Василий Васильевич, — что яхонт этот, горячий и влажный, как звезда Муштар¹, приносит счастье и все благое...

— Слушаю тебя, — перебил его Мангутек, — и дивуюсь, где ты так научился хорошо говорить по-татарски!

— Отец мой, Василий Димитрич, сын Димитрия Донского, хорошо разумел по-татарски. Когда же весной шесть тысяч восемьсот девяносто первого² года поехал он по воле отца заложником в Золотую Орду к хану Тохтамышу, то пробыл там два года... Не всякий татарин так умел говорить, как отец мой. У него и я научился в детстве еще. После же смерти отца я тоже был в Золотой Орде, где от отца твоего, царя Улу-Махмета, получил тогда ярлык на великое княжение...

— Отец зол на тебя, — опять перебил Мангутек великого князя, — за то, что ты пошел войной на него, а он ведь помог тебе против дяди Юрья Димитрича! Теперь же хочет он помочь сыну его, Димитрию Шемяке...

— Его воля! — воскликнул Василий Васильевич. — Москва все равно не примет Шемяку и прогонит его, как и отца его Юрья Димитрича. Если царь хочет выгоды и богатства, пусть мир и дружбу со мной ведет — Москва за меня и все города княжества Московского. Москва богаче Золотой Орды, да и сильнее, а Москва да Казань и того больше. Никакая орда Казань не тронет, если дружба и союз будет у нее с Москвой!..

По знаку Мангутека слуги поставили на ковер перед ханом серебряные блюда с пловом, подносы с лепешками, малые блюда с халвой и с желтыми кусками ноздристого сдобного сладкого кулича, пахнущего шафраном. Налили потом кумыса в золоченые чаши и крепкого меда в золотые чарки.

Хан гостеприимно пригласил сесть около себя на ковер Васи-

¹ Планета Юпитер.

² 1383 год.

лия Васильевича и своего брата Касима. Они выпили задравные кубки за царя и царевичей и за великого князя. Потом молча поели они плова и всяких сладостей.

— Повар мой, — весело проговорил Мангутек, заедая пышным куличом сладкий изюм и урюк, — долго жил в Хорезме, там всему научился...

— Плов хорош, — рыгая по обычаю татарскому, хвалил Василий Васильевич, — а с халвой и куличом язык проглотишь!..

Омыв руки после еды, царевич Касим попросил разрешенья уйти. Василий Васильевич остался с глазу на глаз с Мангутоком. Снова прищурился по-рысьи молодой хан и ласково заулыбался.

— Хазрет Васил, — начал он мягко и вкрадчиво, будто шел по кошачьи, — от Ачисана все мне известно. Мне кажется — ты понял меня.

— Понял, хазрет Мангутек, да будет бехмет в делах твоих. Что мне надобно, ты знаешь тоже. Мать говорила об окупе, а я скажу совсем точно: сколько дам царю, столько и тебе. Если ж случится неудача у тебя, то путь в Москву тебе всегда открыт, как брату! Будут тебе и братьям твоим вотчины и кормленья...

— «Кто уповае на Аллаха, тому он — довольство. Аллах свершит свое дело!..»¹ Неудач не будет у нас...

Мангутек хотел еще что-то добавить, но сдержался и замолчал. Василий Васильевич допил свою чарку и поклонился хану. Потом достал из-за пазухи золотой обруч, осыпанный каменьями самоцветными, и, подавая хану, сказал:

— Прими в знак дружбы и верности этот подарок для своей ханши.

Хан милостиво принял подарок и воскликнул, прикоснувшись рукой к своей бороде:

— Аллах свидетель, что я обещаю тебе дружбу и сделаю все, чтобы отец принял твой окуп!

Отпуская великого князя с Ачисаном, Мангутек сказал ему, что завтра с утра выступают татары и пойдут к Нижнему Новгороду старому...

Когда Василий Васильевич возвращался в сопровождении Ачисана и его нукеров в хоромы купца Шубина, в посаде встретил его маленький попик.

— Отец Иоиль, — крикнул ему великий князь, — благослови меня в путь! Завтра уходят татары.

Священник поспешил к нему и, благословляя, сказал:

— Когда милостию Божией вернешься в свой стольный град, вспомни слова мои, что самый верный тебе доброхот и покровитель отец Иона, владыка рязанский...

¹ Изречение Магомета.

Глава 4

В ГАЛИЧЕ МЕРЬСКОМ¹

У себя в хоромах, в передней своей, сидел князь Димитрий Юрьевич запросто с князем можайским Иваном Андреевичем и дьяком своим Федором Дубенским. Пили водки разные и меды — любит Шемяка гульнуть, попить-поест и гостей угостить.

— Хотя не богат, — смеется Димитрий Юрьевич, — а гостям рад! У меня кубок на кубок, а ковш вверх дном! Гуляй душа нараспашку!

Выпил князь. Весел как будто, но красивые глаза его злы и не ласковы, бегают, ищут что-то и никому не верят, и сам он как-то весь суетлив и беспокоен. Росту хоть малого, но ловок и поворотлив, только вот черен весь: и кудрями, и бородой курчавой, и даже лицом темен. На галку похож, как бы и не русский.

Князь Иван Андреевич весело чокнулся с хозяином и промолвил:

— Не дорога гостьба, дорога дружба! Будь здрав, Митрий Юрьич.

Он выпил чарку, заел хлебом с тертым хреном, хитро подмигнул дьяку Федору и с ним тоже чокнулся.

Грузный и рыхлый, как брат его Михаил, что с великим князем в полон к Улу-Махмету попал, Иван Андреевич не был, как тот, прамодушен, а всегда и всюду лукавил.

— Вот на Москве, — добавил он, — не столь нас потчуют, сколь неволят...

— Тамо, господине, — ухмыляясь в седеющую бороду, живо откликнулся дьяк Федор Александрович, — тамо и не рада курочка на пир, да за хохолок тащат...

— Ха-ха! — резко и зло рассмеялся Шемяка. — Там оглянуться не успеешь, как ошиплот и съедят! Вот и князь Василий меня все потчевал тем, чего яз не ем!..

— У Москвы, — продолжал дьяк, усмехаясь, — брюхо в семь овчин сшито. Гостей угощает да и самих с угошеньем жрет. Поди ж ты, сколь себе в брюхо князя московские навалили. Даниил Лександрыч Переяслав заглонул, как шука. Юрий Данилыч захватил Можайск да Коломну; Калита — Белозерск, Углич да Галич наш; Донской — Верею, Калугу, Димитров да Володимерь; Василь Митрич — еще того боле: Муром, Мещеру, Новгород Нижний, Городец, Тарусу, Боровск, Вологду, а Василь Василич и своих всех удельных заглонуть хочет...

— Да на мне подавится! — стукнул кулаком по столу Шемяка и налил всем водки по большой чарке. — Пейте да дело разумеите.

¹ Мерьский — по имени коренного населения галицкого княжества — мерь.

Если мы, удельны, не задавим Василья, то он нас, как волк ягнят, перережет, с костями и кишками сожрет!..

— Не при на рожон, государь мой, — начал вкрадчиво дьяк, — лучше ползком, где низко, да тишком, где склизко. Сильна Москва-то...

У Шемяки ноздри раздулись, побагровел он весь и, сверкнув злыми глазами, крикнул резко на дьяка:

— Не учи сороку вприсядку плясать!..

Но Федор Александрович не испугался, знал князя своего, недаром любимцем был.

— Ин по-твоему быть, государь, а о пляске ты ко времю напомнил. Поедем ко мне, вдовцу веселому, хлеба-соли покушать, лебеда порушить...

Он нагнулся к Шемяке и громким шепотом добавил:

— А там поплясать да белых лебедушек поймать. Новая плясовая есть! Вдосталь попляшем. Да и гость наш, хоть женатой, а на чужой стороне — все равно что вдовой, а девок да молодых всем хватит...

Он обвел молодых князей смеющимися, такими разгульными глазами, что захотелось им сразу горе веревочкой завить. Дьяк подождал, ухмыльнулся и поднял свою чарку:

— За лебедушку белую, за любовь твою Акулинушку выпьем!

Шемяка улыбнулся, чаще задышал и вялый Иван Андреевич — знал, по греху, и он про хоромы Дубенского, что тот себе построил, а от других про это таили. От княгини своей Акулинушку прячет там Шемяка. Совестно князю — сыну Ивану уже восьмой год пошел...

— Змей-искуситель, — шутит, развеселившись, Димитрий Юрьевич, — во ад тропку мне пролагаешь...

— И-и, государь мой, — усмехнулся Федор Александрович, — обоим вам по двадцать пять, а мне без малое одному столь, сколько вам вместе, а и то не тужу. Мне и здесь с Грушенькой рай, а там-то кто еще знает!..

В усадьбу к Федору Александровичу приехали засветло — солнце еще высоко стояло, только тучки чуть по краям розоветь начали. Грушенька с Акулинушкой гостей у красного крыльца встречали и сразу пошли все в столовую, хоть и малую, да нарядную, как девичий убор. Не для гостей она строилась, а только для князя да хозяина, да для люб их.

Тут и плясали, тут и игры водили, и песни пели, и шутки вольные шутили.

Как князья ни отказывались, а хозяин за стол их сесть приневолит. Выпили снова и журавля жареного с мочеными яблоками съели. Вместе с ними пили и ели разные снеди молодые хозяйки Грушенька, да Акулинушка, да еще Настасьюшка, что прошлый

раз приглянулась тучному Ивану Андреевичу. Все три молодницы-хозяйки сами и стол накрывали и сами гостям за столом служили.

Димитрий Юрьевич расправил морщины на лбу, и глаза его повеселели, но только без злобы тусклыми стали — заменилась злоба тоской. Поглядел он на Акулинушку и, усмехнувшись с печалью, тихо промолвил:

— Спой-ка, любушка, песню, а какую — сама выбери.

Акулинушка вскинула на него свои русалочки прозрачные глаза, поглядела пристально, помедлила, и вдруг ласковый низкий голос тихо пролился и потек по всей горнице тяжелой истомой:

Эко сердце, эко бедно... бедное мое,

Ах, да полно, сердце, во мне ныти, изнывать!..

Словно замерло все в хоробах, и, гуще багровея, заря огнем в слюдяных окнах переливает, играет на чарках и блюдах, на серьгах и камнях самоцветных и на жемчужных поднизях уборов, а песня льется в душу, словно слеза прозрачная да горячая, жгучая. Опустили все головы, а у Грушеньки да Настасьюшки слезы в глазах...

Вдруг смолкла, не допев, Акулинушка. Взглянула в посеревшее лицо Димитрия Юрьевича и, словно лед разбив, засмеялась. Очнулись все, еще слова вымолвить не успели, как Акулинушка, словно душная знойная ночь, ожгла всех хоровой песней:

— Уж вы, но... уж вы, ноче-ни-ки, вы но-чи-те!

— Ух! — будто враз опьянев, воскликнул Федор Александрович, и все хором подхватили горячую, хмельную песню.

Затопали под столом ногами, зашевелили плечами, и первый пошел плясать Федор Александрович, лукаво поманивая перстом свою Грушеньку. Серой утицей поплыла к нему Грушенька, помахая белым шитым платочком. Не утерпел и князь Иван Андреевич, пошел на манку Настасьюшки, словно голубь за голубкою, зачистил ногами, застучал в пол каблуками на серебряных подковах. Только Шемяка сидел на скамье, широко раздувая ноздри и крепко обняв Акулинушку. Но вот и он улыбнулся, закрыл глаза и опустил свою черную кудрявую голову на высокую грудь Акулинушки. Ни о чем он теперь не думает, а слушает, как под его ухом девичье сердце стучит, да звенит и гудит в груди сладостный голос, пьняит и баюкает, тоску его усыпляет.

Кончились песни и пляски, опять зазвенели чарки, и Федор Александрович, румяный от вина и быстрых движений, увидев, что князь его развеселился, снова вскочил из-за стола.

— Гости дорогие, — громко приглашал он, — напоследочек в «колобок» поиграем с пёнями!..¹

¹ Игра с пениями, то есть со взысканием, с «фантами».

Поставили пять стольцев среди горницы. Пятеро сели, а шестая, Акулинушка, протянув правую руку, пошла вдоль стольцев и запела медленно:

Клубок — тóне, тóне,
Нитка тянется.

Первым, встав, взял ее за руку Шемяка, потом Грушенька, за ней — Федор Александрович, за ним Настасьюшка и князь Иван Андреевич. Образовался хоровод и быстро закружился, а Акулинушка запела:

Клубок — тóне, тóне,
Нитка — доле, доле!

Хоровод закружился еще быстрее и вдруг, разорвавшись в одном месте, стал извиваться змеей, будто и в самом деле нитка с клубка разматывалась...

Снова запела Акулинушка:

Я за ниточку взялась,
Моя нитка порвалась!

При последних словах она дотронулась рукой до князя Ивана Андреевича, догнав другой конец хорОВОда, который мгновенно рассыпался. Все сели на стольцы, только Настасьюшка не поспела и осталась среди горницы.

— Пеню, пеню! — закричала Грушенька.

— Пусть поцелует кого захочет, — крикнул, смеясь, дьяк.

— Меня поцелуй, Настасьюшка, — при общем смехе быстро отозвался князь Иван Андреевич.

Снова игра продолжалась, а оставшиеся и через скамьи скакали, и чарки осушали, как Иван Андреевич, совсем осовевший от крепкого меда. Последнему Федору Александровичу пеню платить пришлось.

— Медведем ему быть! — весело крикнул Шемяка, перескочивший перед тем через скамью.

— Ладно, — проревел дьяк, становясь на четвереньки.

Грузный, но все еще могучий, пошел он с медвежьими ухватками, ну точно вот зверь лесной. Грушенька даже взвизгнула, когда он с ревом напал на нее, встав на задние лапы и нарочно погнув колени. Схватив ее передними лапами, поднял, как перышко, и понес к себе в опочивальню.

В дверях он остановился, засмеялся и проговорил, кланяясь:

— Гости дорогие, на покой пора, и медведь с медведицей в берлогу свою уходят... — Потом, подмигнув, добавил: — А ты, Настасьюшка, укажи князю Иван Андреевичу опочивальню его. Не найдет он один-то дороженьки...

Когда ушли все, Акулинушка с тоской и лаской закинула руки, обняла Димитрия Юрьевича за шею, впилаась устами в уста, не отрывая русалочьих глаз, задохнулась совсем. Сжал ее в объятьях Шемяка, сам целуя ей щеки, шею и плечи и снова сливая уста с устами.

— Люба ты, любя моя, — шептал он страстно, — свет мой Акулинушка.

Вдруг она отстранилась.

— А вот опостылю тебе, как княгиня твоя...

Он промолчал, прижимая крепче ее к своей груди Акулинушка вздохнула и пропела ему вполголоса:

Буде лучше меня найдешь позабудешь,
Буде хуже меня найдешь воспомянешь.

На восходе солнца прискакал из Галича в усадьбу дьяка Дубенского гонец от боярина Никиты Константиновича Добрынского. Разбудили Димитрия Юрьевича, и всполошились все в хоромех, по всем углам суета началась. Сразу всем стало известно, что в Галич приехали из ханского яртаула Бегич, посол Улу-Махмета.

Князьям подали коней. Торопливо позавтракав, чем бог послал, Димитрий Юрьевич и Иван Андреевич поскакали вместе с дьяком Дубенским к Галичу, стольному граду Мерьской земли.

— Ты, господине, покоен будь, — говорил Шемяке дьяк, идя на рысах бок о бок с княжим конем. — Боярин Никита знает, как посла привезет, на Москве ведь жил, а посол-то нам, словно Божий дар, с самого неба упал...

Шемяка злорадно усмехнулся и глухо выкрикнул:

— Теперь Василей-то треснет, как гнида под ногтем!..

Когда князя и дьяк, прискакав в Галич, вошли в переднюю княжих хором, застали там они уже стол да скатерть, а чарочки уже по столику похаживали — боярин Никита Константинович угощал посла Улу-Махметова с почетом великим и лаской. Бегич был стар и тучен, с рыхлым лицом, обросшим жидкой бородкой, но глаза его смотрели остро и бойко, все замечали и видели. Много на своем веку встречал он людей и везде был как дома. Знал изрядно порусски, умел и на чужом языке уколоть словом, умел и приласкать, и уважить. Самый нужный слуга у царя для хитрых переговоров и договоров.

Увидев Шемяку со спутниками, Бегич и Добрынский почти встали.

— Ассаям галяйкюм, — сказал Бегич, прикладывая руку к сердцу и низко кланяясь, — с сеунчем к тебе я, княже, от царя Улу-Махмета, да живет он сто лет...

— Вагаляйкюм ассаям, — радостно ответил Шемяка, — победа Улу-Махмета — моя победа, да здравствует царь многая лета!

Своеручно налил Димитрий Юрьевич водки боярской в кубки

испить за царя, потом за царевичей, а по третьему разу налил всем за здоровье Бегича. Пили потом за Шемяку, и Бегич сказал ему по-русски, подымая свой кубок:

— Живи сто лет отныне, великий князь московский! Вольный царь казанский Улу-Махмет жалует тебя великим княжением, а ворога твоего князя Василья до смерти в полоне держать будет. С этим жалованьем послал меня царь из Новагорода из Нижнего, а тебе быть во всей его воле и на том шertzь свою дать царю...

— Напишу яз царю шертную грамоту крепкую, — поспешно воскликнул Шемяка, — пусть токмо Василья задавит!..

— Царь казанский, да живет он сто лет, — продолжал Бегич, — послал меня к тебе августа двадцать пятого дня, а сам с войском пошел к Курмышу с несметными богатствами и полоном...

Шемяка поклонами и знаками пригласил всех садиться за стол, а Никита Константинович наполнил чарки дорогим заморским вином, что редко подавалось к столу у галицких князей. Цену заморскому вину отлично знал и Бегич и, судя по приему и угощению, ясно понимал, какое значение придают здесь его приезду.

Он покровительственно улыбнулся, когда услышал, как Шемяка винился, что не успел приготовить всего, чтобы с почестью встретить дорогого гостя, и обещал к вечеру и на завтра обильные пиры-столованья. Бегич знал достатки удельных князей и ответил грубоватой шутливой пословицей:

— Айда байрам бит ача, кюн байрам кыт ача¹.

Все рассмеялись, а Шемяка поморщился от обиды, но стерпел и ласково ответил:

— Такой русский обычай. Недаром по старине говорится о гостях: «Напой, накорми, а после и вестей поспроси!..» Попируем, чем бог послал, а потом побеседуем...

— Ну, ничего, — снисходительно заметил татарин, — сядешь на московский стол, поправишься на великокняжских прибитках...

С каждым днем больней и несносней были Шемяке обиды от Улу-Махметова посла, но злоба и зависть к великому князю Василию заставляла его терпеть все своеволя татарина.

— Поклоняемся агарянам поганым, — говорил он наедине князю Ивану Андреевичу, — да зато Василья стонить легче будет, а там и с царем иным языком говорить можно! Стану князем великим, укреплю всех удельных. Бегич верно о прибитках молвил. При московском богатстве и татары нам ниже поклонятся.

— Дай-то Бог! — проговорил Иван Андреевич и, усмехнувшись, добавил: — Дай Бог нашему теляти да волка поймати!.. — Шемяка

¹ «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запризднуешь каждый день — будешь голым».

вспыхнул, сверкнул гневно глазами, но взял себя в руки и громко засмеялся.

— Василий-то волк?! — воскликнул он презрительно. — Коли он волк, то ты самого льва страшней...

— Не о Василье речь, — досадливо отмахнулся князь можайский, — о том, что Москва за него. Василий-то и так в яме. Москва страшна, а не Василий...

Вошли, кланяясь, Никита Добрынский и Федор Дубенский.

— Государь, — сказал Никита, — составили мы с Федором Лександрычем грамоту к царю. Как прикажешь царя называть и себя? Вторую неделю с Бегичем спорим, а он от своего не отступается. Хитер и ловок, собака. Хоть скуп он и жаден, а деньгами и подарками не купишь.

Никита Константинович развернул бумагу и продолжал:

— Вот так он требует писать-то. «Казанскому великому и вольному царю Улу-Махмету Твой посаженник и присяженник, князь Галицкой, много тя молит...»

Шемяка прервал чтение боярина крепкой площадной бранью и, вскочив из-за стола, заходил взад и вперед по горнице. Потом, переярившись, опять подошел к столу и за единый дух выпил полный ковш крепкого меда. Постоял немного и тихо промолвил:

— Ладно! Пиши так. Лучше поганым, лучше самому дьяволу покориться, чем Василью. Как ты мыслишь, Иван Андреич?

Снова замолчал, тяжело переводя дух, а князь можайский усмехнулся.

— По мне все едино, — сказал он, — лишь бы нам и детям нашим добро было.

— Да ведь татары-то, — закричал Шемяка, — остригут нас, словно овец! Ведь и все удельные-то захотят тоже куски оторвать, а там еще и Тверь и Рязань!..

Иван Андреевич опять усмехнулся своей вялой усмешкой и сказал, прищуриив лукаво глаза:

— А ты мыслишь, все за тебя зря ума будут стараться, токмо для-ради красных слов.

— Верно, верно, — злобно согласился Шемяка, — к собаке сзади подходи, а к лошади — спереди...

Обернувшись к боярину Добрынскому, он сказал с истомой и изнеможением:

— Ну так и быть! Пиши с Федором Лександрычем, как оба разумеете, но помните токмо: и мое и ваше горе на одном полозу едут! Зови Бегича, да потом так наряди дело, чтобы ехал скорей к царю. Запировался у нас, а уж и бабье лето минуло и Спасов день прошел. Гусиный отлет начался. А ехать-то ему кружными путями больше недели, и к Покрову не вернется. Да скажи, слух, мол, есть,

что князь Оболенский, воевода Васильев, полки собирает, по всем дорогам конников шлет и дозоры держит в разных местах...

Боярин Добрынский вышел, а Шемяка, отвернувшись от всех, стал у отворенного окна, заглядевшись на белое облачко, что плывет в сини небесной над темными лесами дремучими. Гложет тоска Шемяку. Эх, забыть бы все, запомнить тревоги и горести, а губы сами чуть слышно шепчут:

— Акулинушка-свет, лебедушка моя нежная...

Только отпировали у князя галицкого отъезд князя Ивана можайского, как опять пир, опять угощает Шемяка ненасытного Бегича, но теперь уж на прощанье. Знает татарин толк и в питье и в еде и чужой стол да чужих поваров уважает. Видя скупость и жадность посла, подарил Шемяка ему кафтан бархатный, серебром шитый, да кубок серебряный, а царю послал шубу на соболях, золотой парчой крытую, да золотую чарку, а царевичам — кубки золоченого серебра с камнями самоцветными.

Разорился совсем князь, а у Бегича под усами подстриженными губы от улыбки скривились — все мало ему, змею подколодному.

— Знаешь, княже, — говорит он учтиво, — что Василий-то Василич сотнику Ачисану золоченый кубок с камнями да чарку золоченую подарил. Хану Мангутеку перстень с дорогим яхонтом да золотой обруч с самоцветами, а царевичам — кубки и чарки золотые, а царю и того больше подарки готовит...

— Буду на московском столе, озолочу всех! Земли и вотчины раздам на кормление татарам. Пусть царь убьет князя Василья, а мы Москву захватим, и всю казну его возьмем, и все именье у княгинь его и у бояр...

— А пошто ты время ведешь, нейдешь скорей на Москву?

— Чернь там да купцы, а теперь и бояре купно все Москву обороняют. Град укрепили зело против вас. Ни вам, ни мне града того силой не взять. Пусть царь казнит смертью великого князя, а яз проведу, где семья его хоронится, велю сыновей его убить. Тогда не будет у Москвы своих князей, тогда Москва меня примет, — одного яз с ними роду-племени. Димитрию Донскому внук, как и Василий. А пока жив Василий-то и дети его, Москву не взять!

— Сие и царь говорил, а потому велел тебе: собери удельных, сговорись с великими князьями тверским и рязанским...

— Князья-то удельные тоже захотят от великого князя оторвать, а тверской и рязанской и того боле.

— Ну и давай, слабей их не будешь, а сильней, чем теперь, станешь. Нам же токмо Нижний Новгород надобен...

— Попы-то все за Василия.

— А ты и попов купи. Обещай льготы, земли, деревни, угождая лесные и рыбные...

Шемяка порывисто схватил большую чарку с двойной водкой и враз осушил. Крякнул и с трудом вымолвил:

— Попробую...

На том беседа и окончилась, начались прощанья — прощальные и подорожные здравицы. Проводили гостя с почетом и кроме всех подарков дали на дорогу подорожников разных из снеди, а вместо хлеба — курников да лепешек слобных, чтобы в пути не черствели.

Добрынский повел гостя в его покои, чтобы успел тот отдохнуть там перед отъездом. Остался с Шемякой только его дьяк Федор Александрович.

— Иван-то Андреич тоже себе на уме, — сказал вслух думы свои Димитрий Юрьевич.

— Истинно, — горячо отозвался Дубенский, — истинно, государь. Чаю, можайский улучил время, перешепнулся с Бегичем-то. Ишь, татарин все разделил и, кому что давать, указывает! Да не бойся их. Слышали и мы, как дубровушка шумит.

— Сразу догадался яз, что сей губошлеп и тут лисьим хвостом завертел, да смолчал, — добавил Шемяка.

— Сие и лучше, государь. В наших делах слово — серебро, а молчанье — золото.

— Яз и Добрынскому, Федор Лександрыч, меньше чем в половину верю. У Василия он служил, перешел к можайскому, а теперь вот у меня. А завтра кому служить будет?..

— И-и, Митрей Юрьич, чужие-то все таковы. Корня у них нет в нашей земле, а без корня и полынь не растет.

— Эх, Лександрыч, токмо тебе да Акулинушке и верю. По-едем-ка мы с тобой на остатнюю ночь в усадьбу твою, а завтра с утра ты с Бегичем к царю поедешь, а яз пошлю Иваныча в Вятку. Вятчи зело Москву не любят.

Выходя из трапезной, они столкнулись с Добрынским и с сухим седобородым чернецом.

— Господине мой, — сказал боярин Никита с довольной усмешкой, — се чернец из Сергиева монастыря. Через Москву проехал, Ивана Старкова видал. Вести добрые, княже...

— Земно кланяюсь, княже, — сказал чернец, касаясь рукой пола трапезной, — аз есмь раб Божий Поликарп, из Троице-Сергиева монастыря. Отец Христофор челом тебе бьет. Был у него из Москвы Старков и много доброго для тебя сказывал. Есть-де на Москве и бояре, и гости, и из духовных многие, особливо из Чудова монастыря, всё твои доброхоты...

Монах долго и подробно рассказывал, и Шемяка, прервав его, пригласил за стол. Отец Поликарп с жадностью пил и ел, как и все чернецы, когда пьют и едят в миру.

— Что же Старков-то деет? — спросил Дмитрий Юрьевич, ис-

пытующе глядя на монаха. — И куда ваш игумен Геннадий клонит?..

— Отец Геннадий неведомо что на уме имеет, но ежели все в твоих руках будет, сможешь его ублажить и на волю свою поставить, ибо его преподобие зело об обители печется, о приумножении ее прибытков.

— Добре, добре, — скрывая презрительную улыбку, промолвил Шемяка, — а пока, значит, яз Москву не за хватил, он помогать не будет?

— Господине, мы и без него тебе поможем против Василья, а Иван Старков и содруженики его уже все съединились крепко в граде и многие от слобод из Заречья, особенно из гостей и купцов, окупа великого страшатся...

Отец Поликарп опрокинул чарку с боярской водкой и, нисколько не пьянея от всего выпитого за столом, добавил вполголоса:

— Иван-то Старков сказывал, что и ворота тебе кремлевские может отворить, ежели с нечаянностью к Москве придешь. Было бы лишь ведомо ему о том и твое изволение...

Шемяка остался доволен и, встав из-за стола, весело сказал боярину Никите:

— Весьма добрая сия весть! Ты, Никита Костянтиныч, уважь гостя дорогого. Меня же, отче, прости, отдохнуть иду. Расскажи тут боярину все, как на духу, как бы мне все едино...

Выходя вместе с Федором Александровичем, Шемяка через спину чернеца подмигнул Добрынскому, чтобы тот допросил гонца с хитростью, проверил бы его слова его же словами. Ловок был боярин на это.

Добрынский понял и, вставая почтительно, сказал с улыбкой:

— Отдыхай, государь, спокойно Завтра, как уедет Бегич, на беседе приду к тебе. Есть у меня еще вести и умыслы многие...

Глава 5

ОКУП

Гадают оба князя в плену татарском о судьбе своей, словно в лесу темном бродят. Нет им и от царевича Касима никакой помощи — сам он ничего не ведает. Вот и до Покрова уж всего пять дней осталось. Идет время, а дела к пользе их ни на черту, ни на йоту не двинулись.

Темно на душе, да и погодка хмурая. Время такое, что ни колеса, ни полоза не любит. Куда ни глянь, грязь кругом, и ступить негде. Беспутье, не дай бог какое, — только верхом и ездить, да и то трудно. Дожди то с крупой, то с мокрым снегом, мгла да туманы. От сырости да ветров кости в теле все ноют, а где там в шатрах со-

греешься — с дымом и тепло все из них выходит. Недовольны и татарские воины — трудно им здесь в Курмыше стоять, хотят к себе поскорей, в Казань, а царь все медлит, посла своего ждет Бегича же нет как нет, и даже вестей о нем нет.

Истомились князья, а Василий Васильевич пал духом совсем.

— Ошибся тогда Ачисан-то с делами татарскими. Старая-то голова, верно, крепче молодой шеи, — сказал он как-то Михаилу Андреевичу, — может, Шемяка-то не токмо с Бегичем, а и со всем своим войском сюда идет...

— Не дай, Господи, — всполошился Михаил Андреевич и с горечью добавил: — Выдаст царь-то, закует нас Шемяка в железы...

— Наказует нас Бог, — прошептал Василий Васильевич, — прогневили мы святых угодников, заступников наших... — Замоккли оба, кутаясь в бараньи тулупы от холодного ветра, который рвал дверную кошму, шумел и свистел в соседнем бору. Трещали, ломаясь, там сучья, с глухим стоном опрокидывались высокие ели и сосны на опушке, а вывороченные корни их торчали, как застывшие змеи.

С самой ночи и все утро бушевала непогода, а к полудню словно оборвался и сразу стих ветер, а сквозь темные тучи засияло солнышко, дрожа и играя на мокрых ветвях и в лужах. Повеселел вдруг день, и на сердце князей веселей стало, а когда неожиданно приехал со своими нукерами царевич Касим и привез «селям» от самого царя Улу-Махмета, Василий Васильевич в радости обнял и поцеловал татарского царевича, а видя это, засмеялся и Михаил Андреевич...

— Отец, — говорил Касим по-татарски, — захотел тебя видеть. Он назвал тебя не братом, а сыном, но ты не принимай это за обиду. Такой мой совет тебе. Отец стар, зови его отцом не за старшинство по власти, а по возрасту.

— А зачем я царю? Ведь послал он Бегича к Шемяке...

— Сам знаешь, князь, — перебил царевич, — нет у нас вестей о Бегиче. Слухи только разные, а хан Мангутек через карачиев, детей Минь-Булата, свой слух до царя довел. Шемяка-де, узнав о плене твоём, бил челом в Золотой Орде брату отца, царю Кичиму, а в Литве Свидригайле, и что из Орды посол раньше Бегича в Галич приехал.

Василий Васильевич перекрестился и, обращаясь к Михаилу Андреевичу, не понимавшему по-татарски, воскликнул:

— Внял Господь Бог молитвам нашим, княже! Зовет Улу-Махмет меня. Милует Господь нас, грешных...

— Отец наш одряхлел. Недаром дядя из Орды его выгнал, — продолжал Касим по-татарски, — не может править он ни царством, ни войском, а к старости весьма жаден стал. Мангутек прельстил его твоим окупом, и сам царь теперь говорит, что убил Шемя-

ка посла его в угоду ордынцам! Так вот, соглашайся на все, не пропусти случая. Может, Бегич и жив и скоро вернется...

Когда вышли они из шатра и садились на коней, Касим сказал великому князю вполголоса:

— Смотри не обмолвись, что про все ты знаешь. Говори только о союзе с Казанью против Золотой Орды да об окупе и кормленьях.

Вскочив на коней, поехали они по вязкой красной глине вдоль берега Курмышки, к ее устью у реки Суры, где град Курмыш стоит. Еще в досельные времена нижегородский князь из крепкого дуба сложил его здесь, меж двух рек, в защиту от набегов язычников из дикой мордвы и черемисы. Не только реки, но и болота, холмы да овраги обороняют тут крепость со всех сторон, а дальше, за лугами поемными да пашней, леса идут сплошные, дремучие. Ни прохода, ни проезда по ним нет.

Жадно дышит Василий Васильевич влагой от реки и духом лесным. Осеннее солнышко хоть и не греет, а все кругом золотит и светлит, и сверху синь небесная ласково сквозь тучи проглядывает. С берез листья золотые роями летят, осинки стоят все багровые, дрожат их листья, словно кровью обрызганы, а в затихшем бору синицы кричат да сороки стрекочут.

Осень настоящая, а Василию Васильевичу словно соловьи поют. Улыбнулся он весело, сделал знак царевичу и придержал своего коня. Подъехал Касим, приветливо тоже глядит на великого князя.

— Слушай, — говорит Василий Васильевич по-татарски, — чую сердцем — буду опять на Москве. Тебя же, Касим, полюбил я и хочу к себе на службу! Братом меньшим моим ты будешь...

Засиял царевич и дрогнувшим голосом ответил:

— Помни клятву мою. Как позовешь, так и поеду. Весь я на воле твоей, и Якуб о том же челом тебе бьет...

Войдя в горницу, великий князь и царевич Касим поклонились царю до земли и сказали селям Улу-Махмет, окруженный карачиями, биками и мурзами в это время, полулежа на персидском ковре, играл в шахматы с биком Едигеем, начальником своих уланов. Он благосклонно приветствовал великого князя и, продолжая игру, знаком пригласил сесть.

— Подождем, князь, — сказал Касим по-татарски, посмотрев на шахматную доску, — они скоро кончат.

Василий Васильевич впервые видел шахматы и с любопытством разглядывал людей, колесницы, коней и слонов, белых и красных, вырезанных из кости.

— Это два войска, — пояснил ему игру царевич Касим, — с двумя царями. В игре их «шахами» зовут. Вон они оба сидят на столах своих в коронах. Один белый, другой красный, и того же цвету вои и воеводы их. Они бьются друг с другом.

Василий Васильевич увидел на доске одну белую колесницу и

две красных. В каждой из них стояло по одному воину с копьем и щитом.

— Это, — сказал Касим, — воевода в игре, они «рук»¹ называются. Всего четыре их, одного белого нет на доске, значит — убит он. Эти же конники — темники царей. Из них один красный убит.

— А это что за звери, — спросил Василий Васильевич, — горбатые, головастые, а ноги, как бревна? Вишь, клыки торчат какие, а нос кишкой повис?

— Слоны, — продолжал царевич, — боевые звери с кожей такой толстой, что ни стрелой, ни копьем не пробьешь, ни мечом не прорубишь. На спине у них башни привязаны, там стрелки сидят.

В это время Улу-Махмет передвинул свою красную колесницу и сказал громко.

— Шах!

— Это он нападение на самого царя сделал, — пояснял Касим. — Теперь бик Едигей должен своего царя спасти. Вот он белого слона около него поставил, закрыл его от красного «рука». Только не поможет это — скоро его царю ступить будет некуда.

Улу-Махмет переставил через головы пеших воинов своего темника на красном коне и опять сказал:

— Шах!

Бик Едигей передвинул своего царя с белого четырехугольника на черный, но не отнимал руки и все думал: не лучше ли его в другое место поставить, но, видимо, такого места не нашел и оставил там, куда передвинул. Улу-Махмет, засмеявшись и поставив своего пешего воина около белого царя, радостно воскликнул:

— Твой шах мата!

Василий Васильевич не понял его слов, и царевич наскоро шепнул ему в ухо:

— Это не татарская речь, а в игре это значит: «Твой царь погиб!» Игра на этом кончается, отец обыграл бика Едигея, разбил его войско.

Великий князь слушает Касима, а сам зорко следит за Улу-Махметом, желая угадать, в каком царь духе и чего от него ждать — добра или худа. Видит он сбоку дряблые морщинистые щеки, дрожащие от смеха, и ждет, когда царь обратит к нему лицо. Вот застыло лицо Улу-Махмета и со сдвинутыми седыми бровями повернулось к московскому князю. Косые глаза его щурятся по-рысьи, как щурились и глаза сына его Мангутека при первом свиданье с Василием Васильевичем.

Помолчав, царь, сидевший на ковре, поднял руку над полом на уровень своей головы и сказал:

¹ Рук — шахматная фигура, изображала воина на боевой колеснице, теперь называется турой.

— Вот таким ты приходил ко мне в Золотую Орду, и я посадил тебя на московский стол еще малым ребенком. А теперь ты крепкий мужчина, моя же голова стала серебряной...

— Что ж, отец мой, — почтительно сказал по-татарски Василий Васильевич, — недаром сказано: «В серебряной голове золотые мысли...»

Улу-Махмет милостиво улыбнулся и ласково молвил:

— Люблю я слушать, когда хорошо говорят по-татарски...

Он сделал знак, и слуги стали приносить угощения на серебряных блюдах и золоченые кувшины с кумысом и красным вином.

Получив от царя жирный кусок баранины и съев его, как требовала вежливость при такой чести, Василий Васильевич после здравицы за счастье царя и царевичей сказал:

— Отец мой, верю я, Бог поможет мне. Я дам тебе окуп, какой ты захочешь, а сыновьям твоим, моим братьям, уделы, и бикам твоим и мурзам — воеводства и кормленья...

— Сказано, — важно прервал его Улу-Махмет, — «Солнце течет к назначенному месту: таково повеление сильного, знающего». Думали мы раньше иначе, но Аллах все по воле своей изменил. Ныне согласны мы на твой окуп.

— Буду тебе, отец, я верным пособником в борьбе с моим и твоим врагом в Золотой Орде. Не ищи себе многих друзей, ибо сказано: «Один верный спутник дороже тысячи неверных»...

— Пусть будет так, великий царь, — сказал седобородый сеид¹ в зеленой чалме и, коснувшись бороды своей, прочел из Корана на память: «Аллах поможет тому, кто полагает на него упование; Аллах ведет свои определения к доброму концу».

Понял тут Василий Васильевич, что у царя собрался весь его совет, что все уже о выкупе решено у татар, и стал ждать, что еще скажет хан Мангутек, соправитель отца своего. Молодой хан сидел молча, пока не сказали своего мнения все карачии.

— Царь наш, да живет он сто двадцать лет, и советники его, — начал хан, — решили все мудро и справедливо. Я только добавлю, что московский князь богат и силен, за него стоят все города московские и все духовенство Руси. С Москвой будет у нас ежегодный большой торг у Казани на речке Булаке. При князе Василии не пойдут московские товары к Золотой Орде. От других же князей нам не будет такой выгоды...

Мангутек оборвал свою речь, но все бики и мурзы заговорили разом, загудели снова со всех сторон, как пчелы в улье. Торговля — главная статья для Казани. Умеют торговать татары: русские меха, хлеб, скот, мед и воск скупают в великом количестве, а сами

¹ Сеиды считаются потомками пророка, во всех мусульманских странах принадлежат к высшей духовной знати и пользуются большим почетом.

продают ковры, обувь, камни самоцветные, ткани персидские и китайские, перец, корицу, изюм и всякие сушеные и вяленые плоды.

Василий Васильевич радостно слушал поднявшийся шум и гомон. Понял он, что сговора у царя с Шемякой быть не может, и вздохнул всей грудью, благодаря Бога за милость. Вдруг все смолкло, и Улу-Махмет сказал громко и повелительно:

— Хан Мангутек, завтра с советниками моими будь здесь после зухра, и пусть будет поп христианский из города — в Курмыше церковь есть. Утвердим мы крестным целованием князя московского в том, что указанный ему окуп он даст, а царевичам даст вотчины, биков и мурз на службу возьмет, и мир у Москвы с Казанью будет крепкий.

Торопился князь с отъездом в Москву, все возвращенья Бегича боится, хотя и утвержен им договор крестным целованием, а царь дал ему клятву и ярлык со своей алой тамгой, и записи все составлены, где подробно все перечислено, что дает Василий Васильевич за свой выкуп.

— Медлят татары-то, — твердит постоянно в беспокойстве и Михаил Андреевич, — как бы что не передумали!

Но Василий Васильевич, хотя и сам терпенья не имеет, верит Касиму, — обманывать татарам нет выгоды, да и глаза-то у биков на московское добро сильно разгорелись. Губа не дура у них.

— Раздразнил яз татар, — ободряет Василий Васильевич с довольной усмешкой князя Михаила Андреевича, — забыли мурзы и бики про Шемяку, одна Москва на уме, сами торопяся, да, видать, сговоры у них есть какие-то тайные и с Улу-Махметом и с Мангутеком. Медлит царь-то токмо на царство свое возвращаться. Говорил мне Касим, что боится Улу-Махмет Казани, своих же карачиев да биков боится, а пуше всего Мангутека...

— Что ж ты, государь, в окуп даешь неверным? — спросил Михаил Андреевич.

Великий князь запечалился и, помедлив, ответил:

— Много, княже, ох, много! Н-да, Бог не выдаст, свинья не съест. А может, и не дадим обещанного-то, коли у татар распря начнется...

Василий Васильевич замолчал, но Михаил Андреевич выжидательно глядел ему в глаза. Хотел знать он точно и подробно — на всех ведь выкуп этот падет. Удельным тоже на плечи ляжет.

— Какой же окуп царь-то берет?

Великий князь нахмурился и заговорил строго и сурово:

— Посулил яз на себя, и на тебя, и на прочих, в полон взятых, многая от злата и сребра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов. Полтриста тысяч рублей будет, а то и боле...

Михаил Андреевич побледнел и, заикаясь от горести, воскликнул:

— Да ведь татары-то нас на шипок подберут! Оставят от золотца токмо пуговку оловца!.. Семерых в один кафтан согонят!..

Великий князь поморщился и крикнул:

— Не голоси бабой! А не хошь, у татар оставлю, сам торгуйся с ними!

Князь Михаил покорился и, опустив голову, печально промолвил:

— А что яз сам? Алтыном воюют, без алтына горюют Справил бы однорядку с корольки, да животики ко ротки...

— Так уж и молчи лучше, — сердито сказал Василий Васильевич, но потом добавил спокойнее: — Бики и мурзы с нами поедут, царевичей двое, а с ними пятьсот конников и слуги...

— Ох, зря ты без опасу столько татар на Москву ведешь. От поганых, опричь худого, ничего не жди...

— Ну, а мне боле зла от христианства, нежели от басурманства! — закричал Василий Васильевич. — Вкруг меня сколь переметчиков-то! И Шемяка, и брат твой Иван, и бояре Добрыньские почти все, и Бунка, и Старковы, да из купцов и чернецов немало! А сколько их отъехало и к брату твоему в Можайск, и в Галич к Шемяке, а многие на Москве затаились: часу своего ждут, иуды! Из князей яз токмо шурина Василию Ярославичу да тебе верю, на родных сестрах вить с тобой мы оженены. Мыслей своих от тебя ни в чем не таю. И знай, не об одной своей пользе стараюсь, обо всем христианстве гребта моя...

— Бог нас простит, — тихо промолвил Михаил Андреевич, — верю тебе, брат мой. Скорей бы токмо домой вернуться привелось.

— А приведется, — подхватил горячо Василий Васильевич, — все обернем мы себе на пользу. Уразумей, княже, что и татары не столь Москву разорят, как свои вороги. Простят мне христиане мой окуп великий и все вины мои и тяготы, ибо Димитрий-то Шемяка горше татар им станет.

Склоняется солнце к закату, светлым янтарем полнеба покрыло, золотит обрывистые берега полноводной Суры и золотые дорожки стелет в потемневшем лесу, пробиваясь лучами сквозь бурелом и просеки. Непогоды как не было. Воздух не дрогнет, словно хрустальный. Ясно да тихо, хоть мак сей. Будто и не осень совсем. Если б не листья желтые, и не поверить, что нынче третий день после Покрова, а не бабье лето погожее.

Едет шагом Василий Васильевич на коне своем вдоль берега в доспехах и с мечом у пояса. Весел и радостен — снова великий князь он московский! Шутит, смеется, громко переключаясь то с Касимом-царевичем, то с князем верейским Михаилом Андреевичем, то с боярами своими и воеводами. Все они вместе с ним в по-

лоне были. Тут же и бики и мурзы казанские едут с ним рядом, а стража у них общая — из татарских и русских конников.

Впереди их дозор рысит — по дороге к Новгороду Нижнему старому путь разведывает, а сзади — обозы скрипят. Тянутся там со всяким добром на арбах, а в шатрах и в кибитках семьи и слуги татарские. Следом за ними гонят рабы стадо баранов, а огромные мохнатые нары волокут телеги тяжелые с котлами медными, с мукой и просом для воинов и слуг. В самом же конце опять сторожевой отряд едет из русских и татарских конников.

— Слушай, Михайла Андреич, — радостно крикнул великий князь, — надо бы нам кого в Москву вестью отпустить, семейство мое да и твое обрадовать...

— Что ж, государь, — весело отозвался князь Михаил, — отпусти молодого Плещеева Михайлу, сына боярина Андрея Михайлыча...

— И то, княже! Хитер и ловок Михайла-то. Дам ему двадцать конников добрых — они нас с обозами-то недели на две вперед обскочут. Мы же вот два дни от Курмыша едем, а до Волги еще и не доехали.

— Воевод и бояр своих верных упредишь, — заметил князь Михаил Андреевич, — чай, Шемяка ныне там наветы да смуты сеет...

— Верно, — подхватил Василий Васильевич, — а Плещеев-то нам все его лжи и ласкательства борзо порушит!

Василий Васильевич нахмурился, но, опять повеселев, повелел позвать к себе из передового отряда молодого Плещеева. Князь Михаил Андреевич, приблизясь к страже, послал конника. Тот, лихо гикнув, помчался вперед.

— Что, государь, случилось? — подъехав к великому князю, тревожно спросил по-татарски царевич Касим. — Может, мордва или черемиса в засаде сидит? Прикажи, я поскачу вперед со своими нукерами...

Василий Васильевич весело рассмеялся.

— Нет, царевич, никакого зла в лесу я не чаю, — сказал он с ласковой шуткой, — oprичь того, что завтра там беситься леший почнет...

Касим с недоуменьем глянул на великого князя, а тот рассмеялся еще веселей и добавил:

— Завтра, в четвертый день октября, святого Ерофея у нас празднуют, а наши православные весь этот день в лес не ходят, говорят — леший бесится, со злости и вред причинить может...

— А зачем от тебя конник к яртаулу поскакал?

— Хочу молодого Плещеева с сеунчем в Москву послать. А насчет мордвы да черемисы ты верно сказал. Надо ухо остро держать...

Они поехали рядом, дружно беседуя, а вскоре и Плещеев при-

мчал. Станом и лицом красивый, Михаил на всем скаку ловко сделал крутой поворот к великому князю.

— Изволил звать меня, государь? — спросил он, осаживая коня.

Царевичу Касиму понравилась ездовая выправка Плещеева, и, причмокнув губами, сказал он Василию Васильевичу:

— Якши! Бик якши!¹

Великий князь ответил ему улыбкой, но, обратившись к Михаилу, сказал строго:

— Отбери себе двадцать лучших конников, каких сам знаешь. Возьми что надо в дорогу. Поедешь в Москву с вестью о нашем освобождении. Разумей то, что нам козни Шемякины порушить надо.

— Разумею, государь. Оповещу все христианство.

— Первую весть моему семейству, княгиням моим и сыновьям, потом всем прочим, как установлено. Завтра выезжай на рассвете. Да благословит тебя Господь Бог и помогут святые угодники...

Ближе к Новгороду Нижнему к старому, где Ока шире становится, бежит гребная ладейка о две пары весел и под парусом. Спешит из Мурома, ходко идет вниз по течению к матушке-Волге, да и ветер попутный. Над ладьей же у кормы — навесец тесовый, и сидят там на кошме Бегич да Федор Александрович Дубенский, едят снеди дорожные, а рядом в кошелке куры кудахчут, своего череду ждут. На шеях у них камешки разноцветные нитками привязаны — «куриные боги», от падежа они сохраняют.

Смеется Бегич и говорит в шутку:

— От падежа их боги спасают — для ножа берегут!

Но Федор Александрович хмурится. Думы у него о князе Оболенском. Хитер воевода Василий Иванович и великому князю предан. Разбросал он везде заставы, и конники его по всем дорогам рыскают. Беспокоится Федор Александрович и зорко по берегам смотрит, где дороги проезжие, а за ними стенами стоят на обрывах крутых огромные сосны, ели, дубы и березы.

— Скорей бы Дудин монастырь проехать, — говорит он Бегичу, — там и до Нижнего недалеко.

— Должны быть к вечеру.

Впереди на закрае реки лодка показалась. Когда поравнялись, подняли весла, Федор Александрович крикнул:

— Далек ль до Дудина?

— В монастырь к ночи будете, на жилых еще приплывете. А чьи вы?

— Княжие. А у вас что тут деется? — сурово спросил Дубенский.

— Что наяву деется, — со смехом ответили с лодки, берясь за весла, — то и во сне грезится...

Федор Александрович осерчал.

¹ Хорошо! Очень хорошо!

— Ты им к делу, а они про козу белу! — крикнул он, но лодки уж далеко разминулись.

Не понравилась такая встреча Дубенскому.

— Лукавы люди, вельми увертливы, — сказал он Бегичу, — может, и лазутчики воеводы Оболенского.

Более часа они проплыли молча, когда вдруг Федор Александрович увидел, как конники с лошадьми на поводу, праздными и со вьюками, к самой реке подскакали, руками им машут и в голос кричат.

— Фе-о-до-ор Ли-икса-андрыч! — услышал он голос Плишки Образцова, что с их конями берегом ехал. — Сто-ой! Ве-есте-ей до-обыли!..

Переглянулся Дубенский с Бегичем, без слов друг друга поняли, и велел Федор скорей выгребать к берегу и парус свернуть. Вышел с татарским послом он на каменистый пологий берег, а ноги и руки у него от тревоги словно размякли.

— Какие вести? — глухо спросил Федор Александрович, а сам глядит, как у Плишки губы подрагивают.

— Худые вести, — громко и торопливо заговорил Образцов. — Седни о полудни ветрел нас боярин Михайла Плещеев с конниками и в доспехах. Было то противу Иванова, села Киселева. На Покров, говорит, пожаловали князя великого царь Улу-Махмет и сын его Мангутек и, взявши окуп, отпустили на великое княжение со всем полоном, а в подмогу, говорит, против Шемяки свои полки дали с Касимом-царевичем...

— Врешь ты! — крикнул Бегич. — Не может то быти...

— Михайла Плещеев с сеунчем отпущен ко княгиням, — добавил Образцов, — я Плещеева-то давно знаю. В Москве, когда с нашим князем были, видал я там Плещеевых-то, и старого и молодого.

— Верно, — сказал Бегичу Дубенский, — ведомо и нам и тебе, что Плещеевы в полоне были вместе с великим князем.

— Сказывал он, — продолжал Плишка Образцов, — что князь Василий-то с царевичем в Нижнем Новгороде теперь, а то, может, и вдоль Оки уж идут...

Молчит татарин, позеленел от злости, и щеки ему дергает. Посмотрел на него Федор Александрович и сам ему с досадой молвил:

— А тебе что бояться? Царевич Касим тебя примет, не даст в обиду...

— Царевич Касим! — вырвалось у Бегича. — Хуже Мангутека он. Тот против отца, а Касим против всех и татар на русских сменивать может!..

— Ты — не знаю как, — мрачно перебил его Федор Александрович, — а яз назад в Муром, потом в Галич побегу через Суждалье или Кострому, как уж Бог приведет.

— Мне деваться некуда, — тихо сказал Бегич, — с тобой поеду.

Мне токмо от Костромы путь будет: Волгой я прямо в Казань спущусь...

Пошли, побежали по всем городам и селам слухи: великий князь московский из плена отпущен, с войском идет в свою вотчину и дедину. Покатилась весть о том и вверх по Волге, дошла и до Костромы и до Галича. Испугался Шемяка, побежал в Углич, ближе к великому князю тверскому Борису Александровичу. Людям же московской земли от того радость из радостей. Со звоном церковным встречают везде Василия Васильевича, молебны поют, а бояре, воеводы и дети боярские с воинами своими и слугами отовсюду спешат к войску княжому присоединиться.

В Муром, будучи в разъезде окружном, как раз в ту пору для владычного суда прибыл Иона, владыка рязанский и муромский. Встретил он князя московского крестным ходом ото всех церквей, и Василий Васильевич остался дня на два в граде этом. Вспомнил он слова отца Иоиля и захотел с владыкой беседу иметь, благословенье принять от него. К тому же устал великий князь и решил отдохнуть от дороги у купца Шубина, у Сергея Петровича, да отца Ферапонта послушать — хорошо дьякон стихиры из псалмов Давидовых с запевом поет.

Мог бы великий князь у своего наместника муромского остановиться, да расположения у него не было к этому, отдохнуть хотел от ратных и государевых дел.

— У наместника-то, — сказал он Михаилу Андреевичу, — дел не миновать, а у купца от всякой гребты схорониться можно.

Шубин встретил князей с великой честью и радостью и тотчас, чтобы князю угодное сотворить, послал холопа своего за отцом Иоилем и отцом Ферапонтом, а про гонца и забыл среди хлопот, да дворецкий в ухо шепнул ему вовремя.

— Княже и господине мой, прости, что запамятовал, — сказал, кланяясь низко, Сергей Петрович, — с утра еще ждет у меня конник от воеводы твоего князя Оболенского, Василья Иваныча. Князь-то под Муромом тут стан свой раскинул. Повидать тебя хочет, когда ты укажешь...

Поморщился Василий Васильевич, но, вспомнив услуги своего знатного и искуснейшего воеводы, живо сказал:

— Проси на обед его сегодня же, а стол надо роскошен и обилен нарядить. Позвать надо и владыку. Пусть отец Иоиль поедет звать его, и ты, Михаила Андреич, поезжай с попиком-то. Почет оказать надо владыке. Ты же, Петрович, узнай от отца Иоиля, что вкушает святитель, дабы в огрешку и срам нам не впасть. Для воеводы ж фряжеского вина добудь — любит старик духовитое вино от гроздей виноградных...

К великому князю маленький попик явился один и, благосло-

вив князя и поздравив с освобождением, поспешил тут же объяснить ему, почему нету с ним отца Ферапонта.

— Не сетуй, княже, — говорил он ласково, — негоже нам, не подобает на сей раз за твоим столом беседу вести, а отец-то диакон и совсем не к месту, может и не умное что молвить. Тобе ж, княже, со владыкой и воеводой совет доржать...

Василий Васильевич приветливо улыбнулся, и светлые глаза его засияли теплом и добротой. Нравился ему маленький попик, и хотелось говорить с ним не о больших делах земных, а о малых, но душевных.

— А какова семья твоя, отец Иоиль? — спросил великий князь.

Попик потупил свою белую пушистую головку и грустно молвил:

— Един аз, княже, яко перст. Ни детей, ни родни нету. Да и жену свою лет десять, как схоронил...

Василий Васильевич помолчал немного. Хотел он от сердца сказать что-нибудь отцу Иоилю, но спросил совсем другое.

— Как же ты, вдовой и сана иноческого не приивший, — спросил он тихо, — служение и требы совершать можешь?

Попик печально улыбнулся, посмотрел на князя и так же, как тот, тихо ответил:

— Епитрахильну грамоту на то получил от владыки рязанско-го, дозволение его рукописное.

Но вот враз отряхнул с себя печаль отец Иоиль и заговорил с умилением об освобождении Василия Васильевича от полона:

— Вымолили мы тя у Господа! От Плещеева мы слышали — Улу-Махмет. мысли свои переменял для всех нечаянно, а в тот день, когда он отпустил тебя, в Москве было трясение земли. Божье в том произволение. Бог за тебя заступился, а крамолу в Москве кующим в тот же день знамение дал в предупрежденье...

Высокий и дородный князь Василий Оболенский сидел за столом, попивая по глоточку любимое заморское вино, глядел на великого князя веселыми, смеющимися глазами и беседовал с ним привычным густым голосом, поглаживая длинную и пышную, словно бобровую, бороду с проседью. Смелое и открытое лицо его было некрасиво, но весьма привлекательно, хотя черты его изобличали суровость и властность.

— Государь мой, — говорил воевода, — еще до того, как Плещеев пригнал, стража моя схватила Бегича. Был с ним дьяк Федор Дубенский, да ушел. Бегича одного оставил. Оковал яз татарина ране того в железы, узнал от него о всех умыслах Шемякиных. Отпустил он Бегича к царю со всем лихом на тебя...

— Ведомо сие мне, — заметил Василий Васильевич, — не чаял яз тогда, что Господь молитвы наши услышит.

— Вот, — продолжал Оболенский, — яз и держал в мыслях: Плещеева не в Переяславль посылать с вестью, а в Москву, ко

княгиням же послал своих конников, ждаты им тебя указал в Переяславле, дабы из Ростова они ране времени навстречу тебе не отъехали...

— Добре, добре, княже, — согласился Василий Васильевич, — туда яз с малым войском пойду и сам в Москву привезу семейство...

— Поставлены мной, государь, заставы и дозоры в Волоке Ламском и Димитрове, чтобы Москву от Твери закрыть, а еще боле того воев, пеших и конных, собрал яз против Углича. Переяславль надобно от Шемяки оградить, дабы нечаянно зла от него какого не было...

Встал Василий Васильевич, обнял и облобызал воеводу.

— Спаси тебя Бог, Василь Иваныч, — сказал он, — спас ты нас от царевича Мустафы у речки Листани, спасешь и от Шемяки!..

Взглянув в окно, великий князь подошел ближе и увидел уличку небольшую, всю, как ковром, засланную желтыми и багряными листьями ближних садов. Народ у заборов по краям улички стоит без шапок.

Вгляделся великий князь, прикрывшись ладонью от солнышка, и видит: въезжает в уличку на санях¹ своих по листьям цветным, словно в вербное воскресенье, сам владыка Иона.

Впереди саней идет кологрив у лошади, а перед лошадью служка несет посох святительский. Владыка, сидя в санях, благословляет народ на обе стороны. За санями попик, отец Иоиль, а за ним на коне и в доспехах князь Михаил Андреевич.

— Владыка едет, — сказал Василий Васильевич и вместе с воеводой и хозяином пошел встречать почетного гостя.

Выйдя из саней, под руки с отцом Иоилем и Шубиным, владыка поднялся на красное крыльцо и благословил здесь ставших на колени великого князя и князя Оболенского. Потом, оборотясь, еще раз благословил весь народ.

В конце трапезы великий князь сделал знак, чтобы оставили его одного с владыкой Ионой. Когда все вышли, Василий Васильевич сказал:

— Благоволи, отец мой духовный, совет свой мне дать. Как быть мне среди зол, смуты и безрядья? Окуп яз дал тяжкий, татар привел много...

Князь посмотрел на владыку, но величавый, седовласый старик молчал, сдвинув густые черные брови, и остро смотрел в лицо князя.

— Может, и яз виноват в чем, — начал Василий Васильевич, — да на то воля Божия; сказано: «Ни один волос не спадет с главы без воли Божией...»

¹ Высшее духовенство круглый год ездило на санях. (Примеч. авт.)

— В ересь латыньскую впадаешь, — сурово прервал его владыка. — Верно, все от Бога, все по воле Его деется, но уразуметь надо волю Божию и самому творить жизнь свою по ней, и будет тебе счастье на земле и в жизни будущей блаженство вечное...

— Яз не о душе своей говорю, владыко, а о государствовании и ратях...

— Наипаче того, — возвысил голос владыка, — в разумении государствования нужно творить дела по смыслу, ибо Бог наш есть разум и смысл мира, а нам подобает жить по воле Божией и творить дела вольно, по смыслу, воле Божией согласно. Смотри, как трудно было отцу твоему Василию Димитричу, а, поняв волю Божию о том, что нужно быти князю московскому единодержавным, он более всех преуспел. И благословил Бог труды его и дал ему и Муром, и Мещеру, и Новгород Нижний, и Городец, и Тарусу, и Боровск, и Вологду. То же и мать твою, княгиню Софью Витовтовна, деяла. То же деет тебе теперь и мать твою духовную, Церковь Православная...

Владыка смолк, а Василий Васильевич, потупив лицо, думал о словах его, но не все в глубине их постигал.

— Ну, а как с Шемякой мне быть? — спросил он. — Измены много он деял и зло на меня мыслит.

Владыка сурово нахмурился.

— Шемяку хоть убей, а приведи в полную покорность. Не должно быть на Руси государя, кроме князя единодержавного московского. Сорные травы дергают и в огонь бросают...

Владыка помолчал и добавил:

— Благо вы сотворили два лета назад — избрали меня митрополитом московским, да патриарх не уразумел воли Божией, утвердил Герасима, еже по воле Господа сожжен Свидригайлом литовским...

Василий Васильевич не знал, что сказать. Долго молчал и владыка, что-то обдумывая. Потом встал Иона, посмотрел ласково на князя и молвил:

— Скажу тебе, княже, проще и ясней. Единодержавным надлежит тебе быть. В том воля Божья, как открыл мне Господь. Сему следуй, сокрушай врагов своих беспощадно, а Церковь Православная — твой покров, аз же — советник твой и доброхот. Мать свою слушай — она к государствованию Богом сподоблена, да помни, что отец твой деял. По отцу, по путям его следуй...

Он благословил князя, ставшего на колени, и, подымая его, поцеловал в лоб.

— И в окупе Церковь тебе поможет, а наиглавно Строгановы, гости богатые, — вел аз с ними беседу. Церковь же и Шемяку, как главу змия, сотрет, а татар ты не бойся. Божию милостию они сами ся сокрушат...

Радостно поднялся с колен великий князь и вое кликнул:

— Как укреплюсь на Москве, добыю челом у патриарха, дабы утвердил тебя, нареченника нашего, митрополитом всея Руси.

Провожая владыку к саням, Василий Васильевич выбрал время и, склонясь к нему, попросил виновато, как малый ребенок:

— Прости, отец мой, слабость мою: переведи ко мне на Москву диакона Ферапонта, велигласен вельми...

Владыка улыбнулся и сказал весело:

— Ужо благословлю к тебе диакона-то.

Глава 6

В ПЕРЕЯСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ

В лесах дремучих, в гуще дебрей непроходимых, у самого озера Клещина стоит на речке Трубеже старый Переяславль-Залесский. Поблескивают в глуши лесной золотые маковки его древнего Спасо-Преображенского монастыря. Кругом всего города сплошной земляной вал идет, высотой от пяти до восьми сажен, а на нем град деревянный рубленый с двойной стеной и с двенадцатью башнями-стрельнями. В трех только башнях ворота есть: Спасские, Никольские, они ж и Кузнецкие, да Преображенские, что против собора Преображенья Господня.

Силен и крепок град Переяславльский, и еще более укрепляет его с одной стороны Трубеж, а с других — широкий и глубокий ров, воды полный. И тайник есть в Переяславле, идет под землей он, от всякого глаза сокрытый, к самому Трубежу. Выйдя здесь ночью из города, на лады неприметно сесть можно, уплыть в чащобы густые и схорониться от недругов. Надежное это убежище у князей московских, и при набегах иноплеменных и при княжих междоусобицах. Недаром в град этот приказала переехать старая государыня Софья Витовтовна. Знала она и то, что Переяславль поновил и весьма укрепил свекор ее, Димитрий Иванович, по прозвищу Донской. Старая государыня, совет держа с боярами своими, с наместником и воеводой переяславльским, сама ведала обороной града и полками, а полки княжие росли с каждым днем. Со всех сторон шли сюда дворские и ратные люди изо всех городов и сел московской земли. Радовалась Софья Витовтовна, а иной раз и плакала, молясь по ночам перед иконами.

— Спасет Москва сыночка мово, — говорила она ближним боярам, — токмо бы из полону уйти ему целому и невредимому.

Успокоилась и Марья Ярославна. Доходили в Переяславль, хоть и медленно, вести из далекого Муромы, с Оки, из Нижнего Новгорода, с Волги, и даже из Курмыша, с реки Суры. Известно ей было, что великий князь жив и никакой обиды от татар не терпит.

Княжичи же, Иван и Юрий, нигде и никогда на таком приволье не живали, как в Переяславле.

Иван промеж ученья, молитв и трапез цельные дни ходил с Васюком, а иногда с дьяком Алексеем Андреевичем по городу или играл с Данилкой и Дарьюшкой на дворе и в саду, позади глухой стены княжих хором. Дни стояли тихие, теплые, и терпко пахло прелым, давно уж опавшим листом. Все же в хрустальном воздухе чаще и чаще чуялись студёные струйки, а по утрам выпадали холодные росы, и с вечера уж вся трава становилась мокрой.

Дети играли в бабки, свайку и ямки. Илейка-звонарь делал им свистульки из ветловой коры, гнул луки из черемуховых ветвей и тростниковых стрелок нарезал множество, а тростников да камышей здесь страсть сколько в поймах у Трубежа и вокруг озера Клещина. Из орешника Илейка гибкие, хлесткие удилища вырезал, а из камыша поплавки очень легкие да чуткие делал.

— Снежок-то ноне запаздывает, — весело бормотал Илейка, крутя для удочек лески из конского волоса, — зима будет с морозом великим. Зато осень-то краше лета стоит. Успеем мы, княжич, рыбки наловить вдосталь. Эй, Данилка, подай мне оттеда вон того волоса, долгого...

Данилка с великой охотой учился у старика рыболовному делу. Прилипал прямо к нему, когда тот наряжал что-либо для рыбной ловли. Иван же, по спокойствию своему и ровности нрава, ни к чему не припадал с большой жадностью.

На этот раз Илейка-звонарь для показа княжичу скрутил две лески в два волоса, а одну в шесть.

— На такие вот, в два волоса, — сказал он княжичу, — ловится ерш, плотички, караси и другая мелочь. А такую толстую леску, из шести волос, ни сазан ловкий зазубринами спинного пера не подрежет и с разбега не оборвет, ни зубастая щука не перекусит...

Уразумев на этом все искусство Илейки, княжич Иван заскучал и пошел в сад на чижей и щеглов поглядеть, что висели там под тесовым навесцем в большой клетке. Дарьюшка холила птичек, воду меняла им и корм засыпала в кормушки.

Тихо шел он к саду, думая о Дарьюшке. Почему-то маленькая девочка с черными волосами и печальными глазами стала нравиться ему. Часто у нее бывала в руках кукла из тряпок в алом сарафанчике, с крошечным парчовым убором на голове. Дарьюшка ласково всегда улыбалась Ивану и, подойдя, робко останавливалась около него и внимательно следила за тем, что он делает. Иногда он разговаривал с ней, а один раз даже починил ей трещотку, переставшую трещать и вертеться.

Опустив низко голову и смотря себе под ноги, шел Иван по дорожкам сада и не заметил, как у кустов колючего боярышника, вся засияв, радостно улыбнулась ему Дарьюшка и что-то тихо сказала.

Молча прошел он мимо нее и остановился у клетки с птицами. Чижики и щеглыта звонко попискивали, словно переговаривались друг с другом. Слушая их, княжич забылся и не сразу разобрал, что кто-то недалеко от него тихонько плачет. Он оглянулся и увидел у куста боярышника Дарьюшку, крепко зажавшую руками глаза. Сердце его сжалось, он быстро подбежал к ней.

— Что ты, Дарьюшка, что? — спросил он ласково.

Девочка стала всхлипывать громче, а Иван, почувствовав жалость и тревогу, обнял ее и сказал нежно:

— Пошто плачешь-то, Дарьюшка?

— У-у-кколо-л-лась я, — прерывающимся голосом выговорила она, наконец, и вдруг приникла к нему и поцеловала его в щеку.

Сердце Ивана забилося, потом сладко замерло, чего с ним ни разу не бывало, когда целовала и ласкала его матуныка. Не помня себя, в каком-то порыве он крепко обвил руками Дарьюшку, поцеловал ее и, вдруг смутившись, убежал из сада.

Примчавшись на пустырь за конюшней, он спрятался тут среди рослых лопухов и татарника с почерневшими от морозных утренников вялыми листьями. Здесь только вчера с Данилкой ловили они силками прилетевших недавно чижей и щеглов.

Долго лежал княжич на зеленой еще траве, глядел в синее небо сквозь узорные сорняки и думал, сам не зная о чем. Словно во сне, видел он бегущие тучки, сверкающие в солнечном свете, и было все кругом так приятно и радостно.

Он очнулся от неясных и непривычных дум, услышав голос Данилки.

— Ванюша, — кричал тот, — Васюк опять к Кузнецким воротам идет! Нас с собой берет!..

Иван быстро вскочил и бегом помчался на зов своего приятеля. Любил он бывать у Кузнецких ворот, где работали кузнецы и котельники, что ковали и лили нужное все на потребу людям из железа, меди, олова, свинца, серебра и золота.

Пробегая мимо сада, ускорил бег свой Иван — было ему почему-то стыдно и боязно. Казалось, что все вот узнают вдруг, догадуются, что целовал он здесь Дарьюшку.

У Кузнецких ворот по приезде великокняжьей семьи с двором и боярства московского с чадами и домочадцами стало теперь много оживленной. Вместо одной кузницы-плавильни с лавкой для торговли ныне тут целых три работают. В третьей же кузнец Полтинка делает все только из олова, серебра и золота. Хороши у него колечки, серьги, кресты, чарки и другие изделия: вольячные — литьем деланы, резные — рытьею и обронно, б́асемные — чеканом на плющенных листах и сканые — из крученых проволочек.

Княжич Иван уже видел тут, как мечи, серпы, гвозди и топоры

ковали, как из меди крестики тельные, кольца, бубенчики и колокольчики лили в гнездах, лепленных из глины. Не знал он только, как из серебра и золота льют, но по дороге Васюк его обрадовал.

— Седни, — сказал старик, — Полтинка крест золотой сольет на престол в монастырь Спас-Преображенья да бить будет басемный оклад к образу Богородицы...

Кузнец встретил княжича с радостью.

— Ждал тебя, Иванушка, и все нарядил: вот льяк железной, а там в глиняных ступках горна золото уж плавится.

Полтинка указал княжичу на изложницу, двойной железный брусок, потом сдвинул верхнюю половину. Иван увидел в нижней половине вырезанный вглубь крест восьмиконечный. С любопытством стал он ощупывать углубление в бруске — дно его было неровно, в ямках и выступах.

— Вот сюда и лить буду, — сказал Ивану Полтинка и, обратясь внутрь кузницы, крикнул: — Эй ты, Сенька, деревянна рогатина, не наставляй уши-то, качай, раздувай угли!..

Снова запыхтели мехи у горна, где попеременно дергал за веревки деревянных ручек высокий белобрысый парень.

— Сын мой, — пояснил Полтинка, — на тебя, княжич, загляделся...

— Да нет же, тятенька, веревки я поправлял. Ей-богу, я...

— Не божись, — прервал его отец строго, — внапрасне побойться — черта лизнуть!..

Тщательно сложив обе половины изложницы, кузнец крепко обвязал двойной брусок веревкой и поставил его ребром у наковальни на край дубовой колоды, отверстием кверху — Вот и льяк готов, — промолвил он и, обратясь к сыну, добавил: — А ты посматривай, как золото плавится. Кликни, когда в готовности будет...

Чтобы не терять времени, Полтинка достал серебряный, тонко плющенный лист, с одной стороны позолоченный.

— Вот купец наш, Голубев Митрофан, приказал оклад изделать. Обещался он монастырю образом Пречистые Матери. В Ростове Великом писан образ-то и зело красен.

Полтинка достал с божницы образ, писанный на кипарисовой доске, и повернул его лицом к свету. Радугой заиграли краски на доске одежды Богоматери и Младенца Ее были и синие, и зеленые, и алые, и рудо-желтые, а у ворота, на груди, на рукавах и запястьях блестели узоры позолотой, то в виде цветов и листочков, то золотились тонкими нитями, завитками и решетками. Засмотрелся на образ Иван, никогда образов без золотых и серебряных риз он не видел и дивился.

— Подобно крыльям бабочек, — задумчиво сказал он и с недоумением добавил: — Пошто же под окладом красу такую хоронят?

— Так святыми отцами указано, — сурово молвил Полтинка и,

взяв в руки железный чекан, резанный вроде печати, добавил: — Вот такими чеканами я и бью басму.

Он укрепил на дубовой доске позолоченный листик плющеного серебра, уже заранее размеченный, где нужно будет вырезать отверстия для ликов и рук, а где обозначить одежды и складки на них.

— Вот сейчас почну я поле вокруг ликов и одежд обивать. Будет оно ровное, якобы стена расписная, а на сем поле, когда лист тыльной стороной вверх положу, телеса и одежды вдавлю, чтобы тулово, руки и ноги виделись...

Наставив чекан, Полтинка начал бить по нему осторожно небольшим молотком. Работал он споро, быстро передвигая чекан по листу. Все поле, как прозрачной решеткой, покрылось на глазах Ивана однообразным рисунком, а среди него остались гладкими лишь очертания тела Богоматери и Младенца.

— Готово, тятенька, — крикнул Сенька, — делай пробу...

Бросив чекан и молоток, Полтинка подбежал к горну. Повозился там немного и приказал Сеньке:

— Воронку поставь на льяк-то!

Когда Сенька поставил воронку, схватил кузнец большие круглые, как ухват, щипцы, охватил ими толстостенный плавильный горшок, ступкой сделанный, и понес к изложнице. Белоогненный сплав плескался в открытом горшке, и от сиянья его резало в глазах.

Иван жадно следил, как ловко накренил плавильную ступку Полтинка, а через край ее тонкой струей побежал огненный ручеек в воронку, булькая, как вода.

— Будя! — крикнул Сенька отцу.

Тот, повернув плавильный горшок, отнес его к горну Сенька же стоял неподвижно, придерживая воронку.

— Э, да ты здесь, сиз голубчик дорогой, — входя в кузницу и уж навеселе, крикнул радостно Илейка-звонарь, кланяясь Ивану. — А я с вестями, други мои. Пригонил из Мурома ключник наш, Лавёр Колесо. В Москве, говорит, в самой Покров, в шесть часов ночи, трясение земли было. Кремль и посад весь и храмы все колебались.

— Господи, помилуй и сохрани, — перекрестился Васюк.

Перекрестился и Полтинка.

— Знамение Божие, — сказал он, — а что предвещает, неведомо: наказание али милость Божию...

— Предупрежденье, — промолвил строго Васюк, — народу знаменье за смуту московскую!

— А може, князям? — с усмешкой возразил Илейка. — Смуты-то князи сколь промеж себя деют? Християн на христиан ведут, а поганые радуются. За княжие грехи сие...

Иван удивленными глазами смотрел на собеседников и ничего не понимал.

— Как же трясение земли бывает? — спросил он — Пошто трясется она?..

— Колебание, княже, — важно ответил Илейка, — словно ты не на тверди стоишь, а в челноке углом и волной тя шатает. Страх велик оттого в сердце бывает, а людие во многой скорби и безумии кричат и стенают... Потому опоры под ногами своими не чувуют... Илейка, видя, что речи его любопытны для княжича, тряхнул охмелевшей головой и продолжал:

— А трясенье оттого, что земля-то на трех китах стоит. Прогневят Господа людие, и прилетит архангел с золотым копией и ткнет кита, как медведя рогатиной, а тот и поворотится да так, инда вся земля восколеблется, моря-окияны заплещутся, люди и звери все попадают, окорачь поползут...

Илейка внезапно оборвал свое красноречие, вспомнив, что сегодня монахи с сиротами своими осенний ез закончили и теперь вот к вечеру пробовать будут, ловлю начнут.

— Иванушка, сиз голубчик, — заговорил он весело, — да вот в сей часец Данилка сюда прибежит. Ез сторожить я его поставил, а сам сюды, сказывали дворские, к Кузнецким-де воротам ты пошел...

— А когда же крест вынимать? — перебивая звонаря, спросил княжич Иван у Полтинки.

— Не скоро, Иванушка, долго стыть золоту надобно, а горяче-то и память и погнуть можно.

Княжичу Ивану стало досадно, но делать нечего — приходилось ждать до завтра. Проходя мимо лотков для торговли готовыми изделиями, увидел он там серебряные серьги, кольца и кресты тельные. Внимательно осматрел он все эти дешевые предметы для рынка и выбрал две пары серег одинаковых покрупнее, в виде круглых кольчиков с четырьмя подвесками золочеными, а одну пару поменьше — каждая серьга из трех шариков с позолотой решетчатой.

— Купи их мне, Васюк, — сказал он и, помедлив немного, добавил: — Хочу Ульянушке и Дуняхе подарить, а вот малые — Дарюшке, а то она в медных ходит...

Данилка подбежал к ним со всех ног.

— Иванушка, — торопился он, — в сей часец кошель потоплять будут! Готов ез-то! Рыбы — сила! Лещ, бают, в озеро пошел, когда еще ез ставили...

— Он, лещ-то, — вмешался Илейка, — к зиме глубину ищет, а пока еще жирует. Потом же всей силой в омутах спать заляжет...

— Идем, дядя Илья, — прервал его Данилка, — чернецы скорей иттить велели! Сила тамо леща-то, сила!..

Пыл Данилки захватил всех. Побежал с княжичем и Сенька Полтинкин.

— И я прибегу, — крикнул им вслед сам Полтинка, — токмо лавку да кузницу на замки замкну!

На реке уж народ толпился против самого еза. Посредине же еза, что реку всю поперек перерезал, отверстие сделано аршина в два шириной, а за ним, против течения, тоже аршина на два отступя, опять ограждение из кольев и хвороста. Около ограждения этого рыбаки сидят в лодках и на веревках держат большое решето, из ивовых ветвей сплетенное, глубокое, и камни в него положены, чтобы на дно потонуть могло.

— Княжич, княжич! — закричали на берегу, снимая шапки и кланаясь.

Иван вместе с Васюком и Илейкой прошел к лодке и выехал на середину реки, к загороди, где был решетчатый кошель на веревках.

— Здорово, княжич! — встретил его монах и крикнул рыбакам: — Потопляй кошель!..

Рыбаки отпустили веревки, и кошель, сразу наполняясь водой, скрылся в глубине.

— Теперь слушай, Иванушка, — сказал Илейка княжичу, — когда зазвонит вон тот колокольчик. Как зазвонит, ну и тащи решето!

— А кто зазвонит-то?

— Рыба сама зазвонит, — хитро подмигивая, ответил Илейка.

Иван подумал, что старик смеется над ним, и брови нахмурил.

— Да ты не серчай, а пойми, — продолжал Илейка. — Рыба-то в загон, к решету пойдет, а через прорезь-то в езу толстые нити протянуты и с веревкой у колокольчика связаны. Пойдет рыба и задевать почнет нити, дергать их и веревку трясти у колокольчика. Оттого и звон будет...

Иван улыбнулся. Это было хитро придумано, любил он такие выдумки.

— Токмо тут уж скорей надобно кошель наверх тащить, — продолжал Илейка, — а то назад рыба вся выскочит; тут, княжич, надобно...

Звон колокольчика словно заткнул рот Илейке. Он застыл на месте, подавшись вперед всем телом, и впился глазами в ограждение, где рыбаки, рассекая воду, быстро выбирали веревки. Вот уже показались и высокие края решета, меж которых вода так и кипела, словно в котле.

— Знатно, знатно, — громко бормотал Илейка, — ишь, ишь уйма какая!

Иван, опираясь на плечо Илейки, встал на ноги и, глядя через край кошеля, видел, как там метались и, выгибаясь, прыгали широкие серебристые лещи. Рыбаки быстро глушили их палками и бросали в лодки...

Раз за разом выхватывали они из воды кошель, полный рыбы, а рыба все валом валила, конца края ей не было. Рыбаки уж уста-

ли, и сменившие их уставать стали, когда княжич Иван попросил-ся домой.

На берегу Трубежа пылали костры — уху варили, а братия монастырская с сиротами и рыбаками пререкалась, самоуправством корила. В одном месте, где проходил княжич Иван, шумели пуще, чем в прочих.

Седобородый монах кричал и грозился среди сирот монастырских. Не успел Иван разобрать толком, что тут делается, как обступили его со всех сторон.

— Вот, княже, — кричал рослый мужик, — весь я тут: шапка волосяная, рукавицы своекожаны. А хоть шкура овечья, да душа человечья!.. Где же правда-то?

— Стой, не реви, — остановил его другой. — Ты вот что разумеи, княже. Мы монастырю-то засов в лесу высекли и сюда вывезли, а зато нам токмо по хлебу да по осьмине толокна на душу. Забили кол и засов засовали, по хлебу же дали. Да за ужища за езовые по хлебу на выть да по осьмине толокна...

— Что ж нам, и ухи не похлевать, — снова зашумел рослый мужик, — всю рыбу не съедим, хватит и братии, а нам еще к зиме кол и засов для них вымать надобно будет.

Монах подошел к княжичу и сказал со злобой:

— Не верь им, княже, ибо пьяницы и ленивицы велии Богу послужити усердия не имеют. Иди с Богом, княже, спаси тя Христос...

Княжич посмотрел на монаха и вспомнил слова старой государыни, в Москве еще ему, во время смуты, сказанные: «Богу молись, а чернецам не верь». Молча поклонился он монаху и быстро пошел прочь.

В хоромах княжичей в своем покое принимал Алексей Андреевич гостя, дворецкого Константина Ивановича, между делом к нему заглянувшего. Пили мед стоялый, заедая коврижками. Коврижки местные были, переяславские, Константин Иванович на торге купил и другу своему принес.

— Когда же государь-то будет? — спросил дьяк. — Ведь уж дня три, как конник-то с сеунчем пригнал. А ежели князь из Мурома в тот же день выехал, то и ему время здесь быти...

— А може, князь два дня, а то и три в Муроме простоит? Да и скакать-то не станет, как конник воеводы Оболенского. Може, и раны еще у него болят. Чаю, все же дня через два будет. Так и государыня Софья Витовтовна ожидает.

— Великое разумение во всем у государыни, — заметил почтительно Алексей Андреевич. — В нее да в деда своего, Василь Митрича, и наш Иванушка.

— Истинно, Лексей Андреич. Не видал я и слыхом не слыхал, чтобы дитя было так мудро. Дивятся ему люди.

— Не токмо с разумом да борзостью все он ведать может, но и всем естеством своим и станом не дитя он, а отроку подобен. За многих одному ему от Бога столь много дано...

— Истинно, истинно, Лексей Андреич, а еще и другое скажу тебе. Ныне время у всех разум вострит. Время наше вельми трудное и злое. Как вран хищный, оно прямо в темя клюет всякому! Данилка вот мой, всего по двенадцатому году, а баит и о смутах, и о ратях, и о делах государевых...

— Да, время, — согласился задумчиво дьяк, — время грубое, жестокое, как рожон железный на всякого прет. И старые и молодые от бед всяких разумнее стали, а те, которых Бог одарил, и того наипаче.

Дьяк случайно взглянул в окно и, увидев Ивана на крыльце хором, быстро промолвил:

— А вот и княжич пришел!

Константин Иванович встал, а Алексей Андреевич поспешно поставил в поставец сулею с медом, оставив на столе только свою недопитую чарку и блюдо с коврижками.

— Мы ныне, — продолжал дьяк, убирая и пустую чарку Константина Ивановича, — будем числа учить. Учение сие тяжко, а надо же ведать человеку числа недель, месяцев, лет и пасхалий, ведать, как числить выти и деньги, как земли мерять и прочее.

— Худая голова моя для дел мысленных, Лексей Андреич, — прервал его Константин Иванович и, поклонясь вошедшему Ивану, сказал: — Здравствуй, Иванушка, отягчил наставник-то твой мысли мои убогие.

Иван улыбнулся и молча сел за стол подле Алексея Андреевича, а дворецкий вышел.

— Хочешь, Иванушка? — предложил ласково дьяк, указывая на коврижки, принесенные дворецким. — Вкуси от перяславльских снейей.

Иван, о чем-то думая, молча взял коврижку и, откусывая понемногу, стал есть. Дьяк, поглядывая на него, допил мед из своей чарки и спросил:

— Ну, княже, что смущает тя? Вижу по лику твоему, что хочешь нешто неведомое мыслию объять...

— Отчего трясение земли, Лексей Андреич? — начал Иван медленно. — Сказывал мне Илейка, да не верю яз. Говорит он, будто земля на трех китах держится. Когда же ангел золотым копией прободет кита...

— Хе-хе! — весело засмеялся дьяк. — Умница ты, Иванушка. Не верь ты невеждам глупым. Токмо омрачением мысленным так сказывать можно. Разумно ли допустить, чтоб земля, и храмы Бо-

жии, и святые угодники, и сам святой Иерусалим-град на тварях покоились?

— На чем же земля держится? — спросил нетерпеливо Иван, не спуская глаз со своего наставника.

— Стоит земля сама на себе, — медленно и вразумительно ответил Алексей Андреевич, — ибо в Святом Писании сказано: «Ты утвердил, Господи, землю на ее основании!»

— Как же на самой себе? — не понимая и разводя руками, спросил опять Иван. — Вот чарка — на столе стоит, стол — на полу хором, хоромы — на земле, а земля как же? Не разумею...

Дьяк наморщил лоб, собираясь с мыслями, и вдруг, весело усмехнувшись, сказал быстро:

— Земля в океяне, яко доска плавает, основание же ее о четырех углах. По краям земли горы высокие. Полнощные северные высоты выше всех прочих — всю ночь задними солнце скрывается. Заходит оно за горы на западе и, обойдя северные, выходит опять из-за восточной высоты, подобной во всем западной. Отселе течет солнце — над землей ввысь к полудню, а с полудня вниз к западу и там за горы уходит и в ночи по океяну низко летит, но не омочась нигде...

Иван смотрел прямо в рот Алексею Андреевичу, жадно ловя каждое слово, а когда тот окончил, долго еще сидел неподвижно. Странно ему было и дивно, как у часовой ветхой башенки, когда он часы самозвонные впервые увидел. Он чувствовал, как все кружится в голове его и будто глазами он видит и горы земные, и как солнце течет, снижаясь к заходу, а потом мчится над океаном. Много раз проходит оно вокруг земли, как видение...

— Иванушка! — окликнул его дьяк, видя, что княжич как бы не в себе. — Что ты недвижим, словно каменный?

Княжич вздрогнул и улыбнулся.

— Видел яз все, Лексей Андреевич, все, что ты сказывал мне, — произнес он, будто просыпаясь, и, совсем оживившись, добавил: — Скажи мне теперь, пошто же бывает земли трясение?

— Разумен ты, княже, вельми разумен, — радостно заговорил дьяк, — и есть хотение у меня все, что мне ведомо, тебе преподать. Внимай же, Иванушка. В земле суть скважины и щели глубокие. Когда же ветры внидут в подземные щели и скважины, а оттуда исходить не могут, не могут прорваться вон, тогда от напора их дрожит земля, как дрожит мачта, когда парус полон ветру.

Ликующий звон-перезвон во все колокола, как на Пасху, загудел над Переяславлем-Залесским. Вскочил с лавки княжич Иван, а дьяк закричал весело и зычно:

— Государь наш, князь великий приехал!..

Через крытые сенцы перебежал княжич Иван в княжие хоромы, но покои там все пусты были. Выскочил он в переднюю, а потом и на красное крыльцо. Видит, конный отряд подъезжает, а ма-

тунька бегом вниз спешит. Вот и отец подъехал в своих золотых доспехах. Помчался Иван по ступеням лестницы и сам не помнил, как очутился около отца. Видит, обнимает отец матушку, целует ее, плачут они оба от радости. У отца голос дрожит, и все он одно и то же повторяет с нежностью и лаской:

— Сугревушка ты моя теплая... Сердца моего радость...

Успокоилась Марья Ярославна. Обернувшись, заметил отец Ивана. Благословил его, поцеловал и, обнимая жену и сына, стал подниматься на красное крыльцо. Ждет их там старая государыня Софья Витовтовна, и Ульянушка с Юрием тут же.

Строгая стоит старая государыня, но глаза ее оторваться от сына не могут. Взглянул на нее великий князь и, оставив жену и сына, бросился к ногам ее, обнимает колени ей, руки целует. Неподвижно стоит Софья Витовтовна, только губы у нее дергаются да глаза самоцветами сияют. Такие же лучистые, ясные глаза и у сына ее Василия и у внука Юрия.

— Не чаял увидеть тебя, государыня-матушка, — говорит Василий Васильевич, подымаясь с колен.

Дрогнула старая государыня, охватила порывисто голову сына, прижала к груди своей и замерла совсем, глаза закрыла, а у ресниц крупными каплями слезы стоят. Отодвинула опять от себя сына, не находитесь.

— Роженое мое, — шепчет ласково и добавляет с упреком: — Для Руси ты князь великий, а для меня малый... Малай, как татары говорят, совсем малай!

Нежные слова говорит Софья Витовтовна, а Ивану почему-то больно и обидно за отца. Никак он понять не может, отчего это он не умеет все сказать и сделать, как бабушка. У всех слова какие-то неверные, ничего от них не происходит, а у нее каждое слово, как топором вырублено. Скажет она, и другим больше говорить нечего.

Смотрит княжич на бабушку и на отца, и кажется ему, будто бы тот такой же мальчик перед Софьей Витовтовной, как и он сам. Горько это и непонятно Ивану, но некогда все уразуметь — опять чьи-то кони к хоромам скачут.

Взглянув на улицу, увидела старая государыня подъезжающего к крыльцу Касима-царевича со своими нукерами. Отстранила она сына и сказала:

— Благослови Юрья, а потом гостей принимай своих. А я прикажу к обеду накрывать в столовой избе.

— Матушка, сей вот — царевич Касим, — поясняет Василий Васильевич, — через его помочь великую имею, и клялся он мне на кинжале...

— Шемяка на кресте тебе клялся, — сурово перебила его Софья Витовтовна.

— Он у меня в передовом отряде. С Улу-Махметом в распре и боле того с братом своим, ханом Мангутеком...

— Встреть его, сынок, на крыльце, проводи к завтраку, проси, чем Бог послал. Не гадали мы, что на два дня ты раньше приедешь...

— Яз вперед погнал, а то обоз-то наш долго идет.

— Ладно, сынок, — сказала Софья Витовтовна, — после обеда, как гостя на покой отведешь, приходи ко мне. Все скажешь, и обо всем мы с тобой подумаем, что и как деять нужно...

Кивнула она Константину Ивановичу, который тут же стоял, на случай.

— Слышал яз речи твои, государыня, — быстро заговорил тот, — все приготовлю, как водится. Токмо вот государю поклонюсь...

Земно кланяясь, поцеловал он руку Василию Васильевичу и заторопился в хоромы слугами княжими распорядиться в столовой избе: для князя, бояр и гостей обед приготовить.

— Не забудь, Иваныч, — крикнула вслед ему Софья Витовтовна, — молебную нарядить в крестовой. Спосылай к Спас-Преображенью...

Василий Васильевич радостно улыбнулся и сказал матери:

— Знаешь, мати, владыка Иона дал мне диакона Ферапонта в Москву из Мурома. Глас же у Ферапонта такой густой, словно рев у тура лесного!..

Глава 7

О ЗЛОМ СОВЕТЕ ШЕМЯКИНОМ

Заслоня глаза от заходящего солнца, толстый, длинноротый тивун Евстратыч важно идет в богатой однорядке по мельничной плотине скудоводной речки Можайки.

— Эй, Юшка, дуй ты горой! — зычно кричит он. — Куды ты заткнулся, старый клин?

Только подходя к мельничному колесу, увидел он старого плотника, проверяющего вновь забитые колья, оплетенные хворостом.

— И что ты деешь, лихой дьявол?! — с гневом крикнул ему тивун.

Плотник Юшка, досадливо хмурясь, обернулся. Это был складный жилистый старик, знавший себе цену.

— А ты что орешь-то, как скаженный? — сказал он спокойно. — Кой бес ты укусил?

— Ах ты, старый пес, — пуще закричал Евстратыч, — уже улюю те штей на ложку! Гляди-ка, солнце-то где, а у тебя ништо не готово. Воевода-то что повелел? Все заслоны плотин вборзе спущать! Ах, ежова твоя башка.

— Ахал бы ты, дядя, на себя глядя, — сердито оборвал старый

Юшка тивуна и презрительно пробормотал: — Ишь тоже, свиное узорочье!..

Евстратыч совсем взбесился:

— Как же ты, холщовы порты, тивуна дворского можешь так лаять?..

— Сам из холщовых портов, из сирот в тивуны вылез. Мы и без тебя знаем, что делать. Спаси-то много, а токмо собака-то и в собольей шубе блох искать будет! — отрезал старик и, не глядя на тивуна, стал указывать сиротам, где подсыпать надо на хворост глины да щебня.

— Мотри, Юшка, — пригрозил ему вслед тивун, — до князя доведу!..

Озорной старик в ответ выгнул зад свой к тивуну и, похлопав себя по мягким частям, крикнул с вызывающей дерзкой веселостью:

— На-кося!..

Тивун плюнул от злости и пошел прочь с плотины, а Юшка громко крикнул своему помощнику, чтобы и Евстратыч слышал:

— Тивун тоже! По бороде-то блажен муж, а по уму — векую шатаешься! Ну, да пропади он, а ты, Степан, спущай все затворы. Потешим воеводу. К ночи наводним до краев все рвы и у града и у посада!

Третий день сироты — мужики и женки — с рассвета до темноты на четыре выты работают вокруг града Можайска и перед посадом его. Как только ведомо стало, что великий князь из Курмыша Улу-Махметом отпущен, а Шемяка из Галича в Углич побегал, приказал князь Иван Андреевич засеки делать и мосты на Москвеве-реке подрубить.

В лесах вокруг Можайска уже все дороги, прямоезжие и окольные, завалены засеками из цельных деревьев. Лежат деревья там сучьями и вершинами навстречу ворогам князя Можайского, и мосты везде уж подрублены. Молится князь с духовенством в соборе пред чудотворной иконой Богоматери, что явилась при отце его, князе Андрее Димитриевиче.

Воевода же его смотрит, чтобы вокруг града, на одну версту от стен отступя, крепче и выше засеки валили, чтобы, укрепив плотины на Можайке и Петровке, что в Москву-реку у Можайска впадают, наводнить все рвы градные, предстенные. Нет теперь ни проезду, ни проходу к Можайску, кроме тайной дорожки окружной, чужим неведомой. Скачут по той дорожке день и ночь гонцы — с Иваном Старковым и прочими в Москве князь Иван Андреевич через Звенигород ссылается, да с Сергиевым монастырем, да через Рузу и Тверь и с самим Шемякой, что в далеком Угличе втайне рать собирает...

Но у князей одно, а у сирот свое на уме, свои дела.

— Пошто, Семеныч, тивун-то на тебя ярился? — спросил Степан у Юшки.

— С жиру бесится. Вишь, какой ходит боярин брюхатый.

— А ему горе в чем? Жнет не сеет, ест не веет! Не то что у нас: хлеб с солью да водица с голью...

— От нас же, сирот, урежет, — заговорил со злобой ражий парень, опускавший заслон, — с каждого сощипнет, ирод! Вон посулил овса на конь по два лука. А где наши кони овес-то ели?

— А нам где пшено да заспой овсяной?! — голосисто выкликнула женка, притащившая хворост.

— Что ты, Марфуша, не гневи Бога, — ответил ей парень, передразнивая голос тивуна, — рад бы и кашки сварить, да, вишь, куры крупу расклевали!..

— Тать он! — резко отчеканил старый плотник. — Потому и не боюсь его, что он князем грозитя, а сам князя боится...

— Борода у его апостольская, да усок дьявольский.

— Что ж поделаешь. Кому кнут да вожжи в руки, а кому хомут на шею.

— Бают, матка его женки была мужелюбица лютая. Согрешила не то с боярином, не то из духовных с кем. По то и рука у его есть. Наверх-то, бают, маткин любленник его выташил...

— А ляд с ним! — отмахнулся Юшка. — Не до его ныне. Вот пойдет на нас великой князь московской, лихо нам будет: и сечи, и пожар, и глад, и полон.

— Эх, беда горькая, — вздохнул Степан, — пошто токмо князь наш с Шемякой спутался? Были бы мы в стороне — сидели бы смирно и ели бы жирно.

— Верно, — одобрил Юшка. — В землю бы лег да укрылся, токмо бы глаза того не видали, как наши христиане, словно поганные, у христиан же полон берут! Нас, сирот, жен и детей наших холопами деют, продают басурманам в неволю...

Не так все стало, как думал князь Иван Андреевич. Прошло вот уже недели три, а укрепления в Можайске, слава Богу, и ныне ему совсем не надобны. Крепко засел в Москве великий князь с татарами — не до Шемяки ему теперь. Шемяка же втайне ушел из Углича и стал с войском в Рузе, во граде своем удельном. Сюда же по вызову спешному прискакал сегодня из Можайска и князь Иван Андреевич со своей стражей.

Князь Димитрий Юрьевич самолично встретил дорогого гостя на красном крыльце и, накормив его обедом, прямо повел в свою переднюю, где уже сидели за медами и водками все их друзья и доброхоты. Были тут бояре, воеводы, дьяки, гости и купцы галицкие, можайские, тверские и московские, попы и чернецы из Чудова и Сергиева монастырей, и сам богатый гость Иван Федорович Стар-

ков, что ночью еще из Москвы пригнал. Спешили все, чтобы в два дня совет закончить да поспеть куда надо.

В дверях передней князь Иван Андреевич склонился к Шемяке и спросил вполголоса:

— Какие из Москвы вести?

— Бойтся Василий-то! За стенами хоронится, — громко, со злой усмешкой ответил Шемяка и добавил еще громче: — Да ничего, уследим птичку, когда из гнезда выпорхнет. На то у нас и ястребы есть!..

Он громко расхохотался, а кругом подхватили злорадно и угодливо:

— Нет, теперь не сорвется с когтя.

— Ощиплем все перышки, а то не в меру властен стал! Не токмо купцам, а и боярам обиды чинит...

Когда все затихли, Шемяка сел за стол, отпил водки и заговорил снова:

— Все ныне мы вкупе, и все купно напряжем мышцы своя на борьбу с ворогом нашим лютым. Кланяюсь яз тебе, князь Иван Андреич, боярам и гостям великого князя тверского Бориса Лександрыча, и московским боярам и гостям, и тебе, Иван Федорыч, в особину, и отцам духовным, ибо они за правое дело наше мольщики и наши способники.

Дмитрий Юрьевич поклонился всем в пояс и, приняв ответные поклоны, продолжал, снова садясь за стол:

— Злодей и душегубец князь Василий, брата моего ослепивший, ныне с татарами погаными всех нас имения, казны и вотчин лишить хочет. Яко волк ненасытный, жаждет крови испить нашей и все от нас отъяти! Двести тысяч рублей окупа посулил по себе он царю казанскому да еще много от золота и серебра и от одежды...

— Доживем с ним до клюки, что ни хлеба, ни муки! — яростно выкрикнул боярин Никита Константинович Добрынский.

— Истинно, истинно! Многие и великие тяготы на нас, окаянный, кладет! — зашумели кругом. — А где возьмем?! Через силу и конь не тянет.

— Все может Каин-братоубийца, — вскакивая со скамьи, еще яростней заговорил Шемяка. — В железы и меня он ковал, и кого хошь закует, ослепит и убьет из корысти и лютой злобы! Всю старину, отчину и дедину порушил! А вы, бояре тверские, и то доведите князю своему Борису Лександрычу, что Василий-то крест целовал царю Улу-Махмету отдать ему все княжение московское и все города и волости других князей! Сам же хочет он сесть на тверском княжении, князя вашего согнать, из Твери его выбить!..

Шемяка, позеленев весь от гнева, тяжело сел на свое место и жадно припал губами к стопе с медом.

— А татары? — спросил среди наставшей тишины молодой

тверской купец Кузьма Аверьянов. — Не захотят они окуп из рук выпускать...

Насторожил всех этот разумный вопрос и смутил многих.

— Что с Василья берут, из того с нас половину возьмут, — ответил Никита Константинович, — а ежели и столько ж, за то не дадим мы поганым ни городов, ни волостей, наипаче княжеств своих!

Твердо и дерзко сказал это боярин Добрынский, а все сидят тихо, решения в уме не имеют, смотрят на Шемяку, ждут, что скажет, но Димитрий Юрьевич не мог уж говорить более, и слово взял Иван Андреевич.

— Нам, князьям, — заговорил он, как всегда, вяло и лениво, но глаза его хитро выглядывали из-под одутловатых тяжелых век и бегали как мыши, — всем нам, говорю, кто тут есть, надобно разумом добре все обмерить. Нас Москва давно уж слугами сделала, а ныне хочет и в рабство поганым отдать. Вот в чем беда наша, а не окуп! Пошто нам окуп давать за Василья? Пусть в полоне будет! Вы же помыслите о себе, бояре, и гости, и купцы, и вы, отцы духовные! Всех нас, жен и детей наших, все именье, казну и все вотчины наши дает князь Василь Василич в руки агарян поганых на веки веков.

— Да воскреснет Бог и расточатся врази его! — вое кликнул, вскакивая, сухой седобородый чернец, приезжавший недавно в Галич к Шемяке. — Братие и сынове! Се час наступи и в горести соедини сердца наши. Аз емь раб Божий Поликарп из Сергиева монастыря. Молю вас, братие и сынове, помыслите токмо о поругании святынь и храмов Божиих! Осквернят агаряне сосуды и ризы церковные, захватят кресты и оклады золотые, наложут на всех дани и выходы. Поставят над нами, как при дедах наших было, баскаков, сборщиков, своих поганых мытарей! Ополчимся же на агаряны, прекратим свои распри, братоубийства и разорение, яко же...

Монах неожиданно смолк, так как боярин Никита Константинович, ушипнув его, дернул за рясу. Отец Поликарп понял, что говорит не то, что надо, и, переменяв мысль, заговорил с новым пылом:

— Смирим мышцей своей братоубийцу Каина, князя Василья, Иуду, предающего церковь Христову!..

— В железы Василья окаянного! — перебил монаха неистовым криком Иван Федорович Старков. — В заточенье навеки, а перед тем ослепить, как ослепил он князя Василья Косога!

Дрогнули все от всполошного крика, гулом и гомоном загудела передняя Шемяки, словно осиное гнездо раз ворошили, и жужжит все вокруг злом, наливается ядом.

Иван Старков стоит молча и всех зорко острым взглядом осматривает. Потом, когда все понемногу стихли, выйдя из-за стола, обернулся он к Шемяке и поклонился ему до земли.

— Челом бью тебе, князь Димитрий Юрьевич, от всей Москвы. Приходи и садись на великокняжий стол, а мы тебе ворота в

Кремль со звоном церковным отворим! Спаси нас от горестей и поношений, от живота подъяремного, от ига поганых татар и от слуги их Василья!..

— Поспешим же в крестовую, — тоже встав из-за стола, громко и властно молвил князь Иван Андреевич. — Крест поцелуем великому князю московскому Димитрию Юрьевичу на рать идти под его рукой против безбожных татар и Василья. Боярин же Никита Костянтиныч подробно расскажет потом каждому, что и как надлежит деяти к пользе нашей!..

После утверждения целованием крестным на согласие и помощь друг другу развели слуги дворские на покой до завтра бояр, воевод, гостей и купцов по княжим и боярским хоромам, а духовные, у попа, у дьякона и у дьячка, разместились по чину своему и по знакомству.

Хотел было и Бунко уйти вместе с другом своим тверским купцом Аверьяновым, да князь Иван Андреевич задержал его.

— Повремени малость, Семен Архипыч, — сказал он, — нужен ты будешь государю Димитрию Юрьевичу.

Бунко стал у дверей передней, шепнув Аверьянову:

— Обожди, Михайлыч, на княжом дворе, я вборзе управлюсь.

— Приходи лучше к вечерне, — ответил Аверьянов, — буду я у правого крылоса, помолимся вместе, а почивать к Федорцу пойдем. Моим гостем будешь!..

Племянник родной Кузьме Михайловичу Федорец-то. Кузницу свою в Рузе держит — для дяди из серебра работает со своими подручными по мелочи всякой: кольца, серьги, крестики тельные, а главное — блюда, чарки да ложки серебряные и оловянные льет и кует для простого звания. Идет это все на ладях Аверьяновых из Твери и вверх и вниз по Волге и по притокам ее во все стороны. У мордвы, у черемисов, у чувашей да у булгар и югорцев с большой выгодой приказчики Аверьяновы меняют эти товары кузнецкие на меха всякие: лисьи, соболю, бобровые, горностаевые, куньи, беличьи, пардусовые и прочие!..

Вспоминает обо всем этом почему-то Бунко, словно отогнать мысли хочет о том, что видел и слышал. Думает, что Шемяка ему делать прикажет, путается все в голове, и сомненья берут — лихим и неправедным многое теперь ему кажется. Службу свою в Москве у великого князя вспомнил.

— Душу хочу тебе открыть, Михайлыч, — шепчет он на ухо Аверьянову.

— Жду тебя, друже, — отвечал тот уныло, — болит и у меня сердце!..

Остались в княжой передней только оба князя, боярин Никита Константинович да гость богатый московский Иван Федорович Старков.

— Все ли верно, что ты сказываешь, Иван Федорович? — услышал Бунко слова Шемяки.

— Верно и неверно, — с усмешкой ответил Старков, — а мы по-купецки: не обманешь — не продашь!

— Не бойся, государь, — воскликнул Никита Константинович, — задавим Василья, не вырвется!..

— Вот вызнать бы токмо, как Борис Лександрыч тверской мыслит? — медленно молвил князь Иван Андреевич. — Захочет ли он с Васильем напрямки в лоб биться?

— Помогать-то будет, — уверенно сказал Шемяка. — Пособит тайне, как ране брату моему пособлял, и коней он ему давал против Василья и доспехов на триста конников. Не менее нас, чай, разумеет, что податься нам некуда. Коли не ослабим князей московских, они не токмо нас, но и его сожрут...

Оглянувшись, увидел Шемяка Бунко и весело спросил князя Можайского:

— А сей человек и есть Бунко, который у тебя гонцами твоими ведает?

— Он самый, государь, — оживился Иван Андреевич, — через него яз с тобой ссылся. Добре нарядил он вестовую гоньбу, особливо в Москву. От Можайска до первого стана скакал мой гонец тридцать верст за един гон в два часа, а потом другого коня брал и в сей же часец скакал до Звенигорода. А там встречал его гонец из Москвы. Мой гонец ко мне скакал с вестями от Ивана Федорыча, а московский-то, вести от моего узнавши, обратно в Москву гнал. Так яз из Москвы, а Старков от меня всё в един день ведали.

— А ныне нам, государь, — вмешался Старков, — и того нужней борзость в вестях. Прикажи Бунко и у нас гоньбу добре нарядить. Поймать надо Василья нечаянно, дабы ни народ, ни бояре того не ведали.

— А Москву и того ране захватить надобно, — резко крикнул Шемяка, — казну Василья поймать, его имения, княгинь...

— Обмыслено все, государь мой, — сказал Никита Константинович, кланяясь, — не гребтись о сем, государь. Ведомо мне от чернецов сергиевских, что Василий-то хочет ко гробу преподобного ехать...

Боярин смолк, поймав предостерегающий взгляд Старкова, и, откашлявшись, продолжал:

— Наряжено все у меня для Бунко — и кони и гонцы. Надобно нам ныне же, государь, от Рузы до Звенигорода...

— Завтра к тебе, Никита Костянтиныч, Бунко придет после обеда, — перебил боярина Шемяка, — а ныне нам много еще делов обсудить надобно: и что удельным, и что монастырям дать, и, особливо, что великому князю тверскому дать, — захочет ведь он кусок пожирней всех...

— Ин, Архипыч, иди, — быстро обернулся к Бунко князь Иван Андреевич, — послужишь нам верой и правдой, будут у тебя угоды разные и казной тебя пожалуем, детям и внукам хватит...

Поклонился Бунко и вышел.

Сидя за ужином в покоях у племянника Аверьянова, говорил Бунко другу своему Кузьме Михайловичу с печалью:

— Все у них купля и продажа, а о Руси и христианстве забыли...

— Князи наши будто и не государи, — отвечал ему Кузьма Михайлович, — а попы да монахи будто и не отцы духовные, а как мы — купцы, торговцы грешные, для-ради поживы.

Задумался горько Бунко и молвил тихо:

— Ныне я, как просо меж двух жерновов. Мелют и мелют жернова-то, кожу с меня сдирают, а кому я на кашу попаду, о том и не ведаю. Отъехал я от Василья, от лютоости нрава его ушел. Убил бы меня насмерть, ежели бы государыня Софья Витовтовна тут не случилась. Ярый zelo князь-то Василий, да Москва-то о всей Руси печется, а эти два о себе токмо...

— Ты за кем же теперя? За можайским князем аль за Шемякой? — спросил у Бунко Федорец, здоровый рыжебородый мужик лет тридцати.

— Был за великим князем Васильем, — ответил Бунко, — да за обиды его отъехал к можайскому, а ныне вместе с можайским к Шемяке перешел...

— Все едино, — махнув рукой, молвил Федорец, — за всеми удельными жить беспокойно, а в Москве да в Твери, как за щитом живут.

Оглядев стол, он обратился к жене ласково:

— Что ж, хозяйюшка, стол-то пустой? И так у нас гостьба худая — приехали к нам дорогие гости в Филиппов пост! Все ж откушайте рыбки соленой, капусты вот квашеной, репы пареной, и еще уха есть...

— Кушайте, дорогие гости, — кланяясь, просила хозяйка, — ушицы сейчас подам, а в печи у меня и каша пшенная с маслицем конопляным, — уж не взыщите...

— Все, что есть в печи, на стол мечи! — весело крикнул хозяин, разливая по чаркам крепкий мед. — А я еще сулею достану с водкой боярской!

— Гостьба гостьбой, — заговорил Кузьма Михайлович, отпивая житного кваса, — а ты скажи мне, Федорец, что людие-то здесь, в Рузе, бают? Что они о Шемяке мыслят и что о Василье? Князь наш Борис Лександрович, может, и спросит меня.

Федорец тряхнул густыми кудрями и сказал резко:

— Народ за того, кто ему покой даст от ратей, от набегов татарских, от полона и неволи в холопах. Не хочет он и брани междо-

усобной, ибо разоренье от обид княжих горше татарского. За Москву стоят людие!

— Ну, и слава те, Господи, — весело отозвался купец Аверьянов. — Будет Москва сильной, будет и Тверь торговать по всей Волге до самой Астрахани, что у моря Хвалынского! Выпьем теперь и водки за князей великих московского и тверского. Борису-то Лександрычу не в обиду сие, сам он разумеет, что без Москвы и Твери худо...

Выпил Бунко за Василия Васильевича и, заедая чарку боярской овсяным киселем с сытой, сказал Кузьме Даниловичу:

— Хоша неведомо, кому я на кашу попаду, да за Русь и христианство живот свой отдам. Не в князе дело, а в людях. Что христианам на пользу, то и содею...

Глава 8

В МОСКВЕ

Заговев Филиппово заговенье, выехал великий князь в Москву со своим семейством по снегу. Санний путь установился этот год задолго до Екатерины-санницы. К Михайлову дню уж все реки замерзли, и даже Ока стала. Зима пришла дружная, совсем без оттепелей, а на Федора-Студита ночью такой студ был, что в лесу деревья трещали, кора лопалась.

Княжич Иван всю дорогу с жадностью разглядывал из колымаги те самые леса и чашобы, где малину собирали и медведя встретили, когда из Москвы бежали. В серебре стояли теперь леса, и мохнатые лапы елей и сосен так набухли от снега, что даже игол не видно. Как бы и не настоящий лес, а словно из белого рыбьего зуба выточен, дух же смолистый в нем и в мороз, как и в жару, чувствуется, и воздух тут легкий и чистый, сам в грудь льется, будто пьешь его.

На полозья теперь колымаги поставлены, нет ни толчков, ни шума. Скользит колымага, чуть черкая иногда боками по сугробам. Васюк дремлет, сидя против княжича Ивана, а в глубине бора стрекочут сороки, да, пролетая над дорогой, звонко каркает в морозном воздухе черный ворон. Бойко бегут лошадки по снегу, а впереди и сзади скачет стража. Конные дозоры верст на десять впереди гонят, а за ними под особой охраной обозы идут, отстав от поезда почти на полдня.

Зябнет княжич Иван, прячется в колымагу, кутается в шубу и дремлет, думая о курнике и о штях, что в обед на остановке подавали.

— Васюк, спроси Ульянушку про курник, — начал он сквозь дрему вполголоса, но, чувствуя теплоту во всем теле, заснул, не договорив того, что хотел.

Проснулся Иван, когда лошади гулко застучали ногами по крепко сбитому снегу, покрывшему бревна моста. Выглянув из ко-

лымаги, княжич неожиданно увидел огромное багровое солнце, поднимающееся из огнистой мглы, увидел и Москву, ее стены, башни, церкви, пылающие утренним заревом. Колокола гудят над городом и его окрестностями.

— Васюк! — радостно вскрикнул он. — Мы домой приехали!

Все случившееся и пережитое до этого показалось вдруг Ивану далеким и давним, как бы страшным сном. Все же смутная тревога где-то затаилась в нем, и еще пытливей и острее, чем раньше, смотрел он на мир и людей своими большими черными, как у матери, глазами. Странен теперь стал его взгляд, а порой и нестерпим. Это сам Василий Васильевич заметил, когда все семейство, разместившись на первое время у бабки, в Ваганькове, село за стол.

— Что-то тяжел стал взгляд у Ивана, — сказал он вполголоса матери, — будто старик глядит...

Софья Витовтовна присмотрелась ко внуку и молвила в ответ:

— Не старик, сынок, а будущий государь.

Княжич слышал этот разговор, и что-то в нем шевельнулось новое, такое же непонятное, как и там, в Переяславле, от поцелуя Дарьюшки, но не такое радостное и нежное. Он понимал, что бабушка хвалит его, но от слов отца почему-то стало ему грустно.

Это случилось в ноябре, в семнадцатый день, и с этого дня Иван как-то замкнулся в себе и даже внешне несколько изменился. За год он еще вырос, но похудел и казался старше Данилки, особенно оттого, что при высоком росте, как это бывает с преждевременными переростками, стал сильно сутулиться. Сам же Иван не замечал этого. Внутри себя он к чему-то все прислушивался. Как-то мимо него прошел и переезд в Москву и переезд на двор воеводы московского, князя Юрия Патрикеевича, женатого на родной его тетке, Марье Васильевне. Великокняжьи хоромы сгорели дотла, а новых пока строить и не начинали. Много еще пустырей и пожарищ увидел Иван за кремлевскими стенами, когда просиживал подолгу на открытых гульбищах Патрикеевых хором, у самой башенки-смотрильни. Задумчивым взглядом скользил он по белым снегам, заставшим все просторы вокруг Москвы вплоть до темных далеких лесов. Мысли у него путались, катались клубком спутанным, и ничего не мог он распутать.

Вокруг же княжого двора суетились татары, бояре, гости, духовные, дьяки и воеводы. Все кипело, а Софья Витовтовна иногда сердилась и попрекала великого князя и сама решала дела. Из разговоров матери, отца и бабушки между собой Иван знал, что все теперь в Москве заняты сбором окупа и раздачей уделов татарским князьям и мурзам на кормление, заняты заключением договоров со своими князьями удельными и с монастырями.

Все же это ничем не нарушало ни распорядка жизни велико-

княжьей семьи, ни чина государственования великого князя, — все шло тихо и мирно, как и до войны с Улу-Махметом.

Только раз один слышал Иван, как отец с горестью жаловался жене своей:

— Наказал нас Господь, Марьюшка, — говорил он, — всяк ныне на беде моей хочет прибыток иметь...

— И-и, Бог милостив! — весело отвечала ему княгиня. — Не крушись, услышал Господь молитвы мои повсенощные, вернул ты из полона и жива и здрава.

— Вот мне ко гробу преподобного Сергия надобно бы ехать. Обет ведь яз в полоне-то ему дал, Марьюшка. Ну, да как с окупом свершим все, тогда и поеду...

Беседы их до конца Иван не дослушал. Увидел в окно он, что Васюк катит большое колесо от арбы к середине княжого двора, а Илейка стоит у кола, вбитого в мерзлую землю, где жердь длинная лежит с веревками и санки стоят. Данилка уж там с Дарьюшкой и Уल्याнушка с Юрием.

В легком беличем тулупчике и в меховых сапогах выскочил он на двор.

— Скорей, скорей, Иванушка, — закричал ему Данилка, — сей вот часец готово все будет!

Не первый год катанье такое устраивалось. Вот Васюк поднял с Илейкой колесо и надел на кол. Потом привязали к нему один конец жерди.

— Как стрелка у часов самозвонных, — сказал Илейка, подмигивая княжичу Ивану, — глянь-ка, Иванушка.

Другой конец жерди Васюк крепко-накрепко привязал к санкам, пропустив его снизу над полозьями под санное днище.

— Пусть сначала снег обомнут, — сказал Илейка и, вставив другой кол в колесо между спицами, стал вертеть его.

Санки помчались по кругу, взметывая снежную пыль.

— Стой! — не выдержав, крикнул Иван. — Хочу кататься!

Он нерешительно взглянул на Дарьюшку и тихо добавил:

— Садись...

Княжич сел верхом впереди, уцепившись руками за передок санок, а за ним села Дарьюшка, тоже верхом, упираясь ногами в полозья. Когда санки понеслись опять по кругу и все перед глазами княжича слилось в непрерывную полосу, он почувствовал, как маленькие ручки туго охватили его сзади.

Васюк с Илейкой еще налегли на колесо, ветер засвистел в лицо Ивану, а Дарьюшка вскрикнула с испугу и еще крепче прижалась к нему. Ее теплое дыхание чувалось ему у самой шеи и было приятно. Он быстро обернулся, неожиданно коснулся губами ее щеки и невольно поцеловал. Отвертываясь назад, он увидел ее улыбку и сияющие глаза. Но это все длилось один миг. Он крепче

схватился за сани и закрыл глаза. Кажется ему, что летит он на крыльях, и радость сладким комком дрожит у самого горла...

Но вот сани замедляют и замедляют свой бег и, наконец, остановились...

— Меня, меня покатайте! — громко кричит Юрий.

Ульянушка усадила его на санки вместе с Данилкой.

— Мотри, Данилка, держись за передок саней. Охвати заодно и княжича, чтоб с саней-то не сбросило, — говорит она строго и добавляет, обращаясь к Илейке и Васюку: — А вы уже не вертите шибко-то!..

Вышла на двор и княгиня Марья Ярославна с Дуняхой, потянулись сюда же к колесу со всех сторон и дворские. Шум и смех пошли по двору. Прокатили Марью Ярославну с Ульянушкой, а с Дуняхой нарочно так устроили, что слетела девка с саней в самый сугроб, а может, и нарочно сама сорвалась для потехи — благо снегу-то много.

Под общий хохот вскочила она и, отряхавшись и смеясь, крикнула:

— Прокатилась я, словно по пуху лебяжьему!

Хотел было Иван опять сесть в санки вместе с Дарьюшкой, да при матери почему-то побоялся, заробел совсем, а тут как раз и позвал его дьяк Алексей Андреевич в хоромы на учение грамоте.

После Рождества недели через две, когда уже хоромы начали рубить для великого князя, зашел утром к Ивану Васюк.

— Ну, княже, — сказал он, помолвившись на образа и поздоровавшись, — великий князь из коней своих из ездových повелел дать одному тебе...

— Коня? — радостно воскликнул Иван.

— Коня, — усмехнулся Васюк, — а я тебя учить стану и на конях ездить, и стрелять, и всем ратным хитростям, что вою и князю надобны...

— А доспехи надену? — с трепетом спросил княжич.

— Наденем потом и доспехи, — спокойно ответил Васюк, — а пока без доспехов. К им тоже привыкать надо...

Иван огорчился на миг, но радость, что у него свой конь теперь, заставила забыть и про доспехи. Он бросился скорей одеваться и из дверей крикнул Васюку:

— Пойдем на конюшенный двор!

Когда вернулся княжич, Васюк, поглаживая бороду, сказал важно:

— А знаешь ты, сколь за коня твоего плочено было? Шесть со-роков белки, пятнадцать рублей московских! Дорогой конь! Ну, идем, сам увидишь...

Когда сошли они с крыльца, Иван чуть не побежал к коню-шенному двору, но Васюк шел степенно и тихо. С этого дня он стал не нянькой княжича, а учителем ратному делу. Это понял

княжич и невольно стал послушной Васюку, чем раньше. Он пошел медленней, но молчать не мог.

— Какой же конь-то? — допрашивал он Васюка — Скажи, люблю тебя!

Васюк улыбнулся.

— Настоящий фарь угорской, — сказал он, — иноходец. Цены ему нет на походах. Хороши и баски, горячие скакуны для ратного дела, да не угнаться за иноходцем и скакуну. Ехать же на ем все едино, что в люльке, — спать можно, совсем не трясет, вперевалку бежит...

— А какой он, — нетерпеливо перебил Иван своего нового наставника, — белый, вороной?

— Угорской-то! — возмутился Васюк. — Соловой, а навис седой. Ничего еще в конях ты не понимаешь.

Княжич Иван смутился и больше не спрашивал, хотя не понимал, что значит «навис».

На конюшенном дворе Васюк тоже, как учитель княжича, стал важнее и крикнул подвернувшемуся на пути младшему конюху:

— Эй, Фомушка! А ну-ка, покажи княжичу его Соловка угорского, он под государем ходил...

Конюх распахнул дверь конюшни, откуда овевало Ивана запахом конского пота и навоза. Стоя рядом с Васюком, впился он глазами в темную пасть двери, из которой у притолоки слегка белел теплый парок, клубясь в морозном воздухе. Княжичу казалось, что время идет очень медленно.

— Но, но! — услышал он окрик Фомушки — Ногу, ногу! Ишь, запутался...

Следом за этими словами четко застучали конские копыта по деревянному полу конюшни, и Фомушка вывел из тьмы на свет коня средней величины, изжелта-серой масти, с белесой челкой, гривой и хвостом. Застоявшаяся лошадка «играла» и, широко раздувая ноздри, жадно нюхала свежий воздух. Иван залюбовался небольшой красивой головой коня с веселыми глазами. Соловко косился на Васюка, разводя уши, и подрагивал мышцами стройных сухих ног.

— Мотри, Иванушка, — не выдержал Васюк, — постав-то какой! Ишь, как ноги стоят ладно и баско! Холка и поясница хороши, а шея — одно загляденье! А репица и хвост как лежат! Конь, княжич, редкой! И не злой, ласковый! Ишь, разбойник, глазами косит — понимает, что о нем речь. Выезжан был добре для родителя твоего...

Васюк, взяв узду у Фомушки, похлопал Соловко по крутой шее и погладил ему белесоватую морду.

— На-кось узду-то, Иванушка, — сказал Васюк, — поводи коня. Коню к тебе, а тебе к коню привыкать надобно. Погладь рукой

его по ноздрям, чтобы дух твой запомнил. Не бойсь, не укусит. Смирный конь, а ты вот коврижки дай с руки...

Васюк отломил кусок медовой коврижки и положил на ладонь княжичу Ивану. Соловко сразу наставил уши и потянулся к руке.

— Ишь? Что-то, а где сладкое, враз уразумеет! — рассмеялся Васюк. — Скорометлив на коврижки-то...

Соловко будто понял и обиделся, — прижав уши, он сверкнувшим глазом покосился на Васюка. Иван протянул руку к морде коня, тот опустил голову и, ласково шевеля нежными теплыми губами, коснулся ладони княжича. Подобрал коврижку, он снова ткнулся в пустую ладонь, перебирая губами, как пальцами, но, ничего не найдя, наставил уши, взглянул на Ивана и слегка всхрапнул, потом тихо и коротко проржал.

— Еще просит, — весело молвил Васюк и за спиной передал Ивану в другую руку обломок коврижки. — Токмо ты, Иванушка, враз все не давай. Разломи надвое...

Фомушка принес в охалке седло, чепрак, потник и прочую сбрую и начал обрывать коня. В это время с другого конца конюшенного двора послышался конский топот — гнал рысью Данилка на чалой лошадке с черным нависом.

— Вот обоих и буду учить. И тебе веселей и Костянтину Иванычу уважение. Данилка-то уж один ездит, — сказал Васюк и вдруг сердито крикнул на Данилку: — Ты что, как повод-то держишь? У тебя что в руках! Конем ты правишь аль рыбу на леску ловишь?!

— Василь Егорыч, — спросил Фомушка, затягивая подпруги, — путлища-то у стремян скоротить, что ли?

— А ну-ка, Иванушка, садись! — вместо ответа конюху, обратился Васюк к Ивану. — Эй, Фомушка, поддержи княжичу стремя...

Княжич, стараясь быть ловким, кое-как взобрался на седло и сел довольно неуклюже. Усмешка Васюка уколола его, и он напряг все внимание, чтобы делать так, как нужно хорошему коннику. Приняв то положение, как указал Васюк, он оперся на стремяна не всей ногой, а только носками.

— Ну, путлища в самый раз! — воскликнул Фомушка. — У тебя, княжич, ноги долги, как у большого. Ишь, Господь тебя как взрастил, чуть пониже меня будешь, а я по себе путлища-то ладил.

Через два часа Иван, усталый и голодный от работы и холода уже ездил один по конюшенному двору на своем Соловке, гордо и радостно озираясь кругом.

— Ну, теперь поезжай один к хоромам, сам государь тебя посмотрит, — сказал Васюк после того, как услал куда-то Фомушку.

У красного крыльца, куда Иван подъехал, его встретили отец с матерью и бабкой. Василий Васильевич радостно сбежал с крыльца, сам помог сыну сойти с коня, обнял его и со слезами воскликнул дрогнувшим голосом:

— Сыне мой, в стремя ты сел!¹ Свершил ты днесь по милости Божией свой младенческий круг. Отрок отныне ты, Иванушка, надежа моя...

После Сретенья снежные дни пошли вперемежку с ясными, и радостней солнце играет на высоких сугробах и на длинных сосульках под крышами, откуда к полудню в погожие дни уж падают блестящие капелька.

— Вот, матушка, и зима к концу идет, — радостно проговорила Марья Ярославна, обшивая золотом шелковый платочек в подарок для свекрови. — Солнышку Божию душа радуется, тепла хочет.

Софья Витовтовна ласково улыбнулась.

— Ну, Марьюшка, далеко еще до тепла-го.

— Истинно, — подхватила Ульянушка, сидевшая тут же с Юрием на лавке пристенной, — будет еще семь крутых утренников. Три до Власия Кесарийского да три после, а один на Власия Севастийского — сшиби рог зимы!..

— Вот доживем до Василия Капельника, — промолвила Софья Витовтовна, откладывая вязанье, — тогда и тепло почуем. А яз и теперь рада. Тишина настала в Москве. И наши воеводы и князья татарские получили во владение свои волости и, слава те, Господи, разъехались кто куда с послушными грамотами.

— Что ж им ждатель-то, — затараторила Ульянушка, — на жирное кормленье спешат, жир-то блазнит: как мухи полетели, был бы хлеб, а зубы сыщутся. Заживут теперь — одна рука в меду, а другая в сахаре!

Иван, следивший из окна в ожидании трапезы, как срывались с сосулек сверкающие капли, внимательно слушал разговоры старших.

— А пошто, — обратился он к Софье Витовтовне, — воеводы и князья татарские ездят кормиться, а не в Москве едят?

Обе великие княгини засмеялись, и Иван покраснел от смущения.

— Не так разумеешь ты, любимик мой, — сказала бабка, — кормленье не трапеза, а государево жалованье. Отец твой за службу их пожаловал волостями и дал им послушные грамоты, дабы все людие в тех волостях послушны им были, как наместникам князя великого. Зовутся они кормленщиками и в волостях своих ведают всеми делами: и суды судят и тивунов своих посылают, куда надобно. Доход же берут по наказному списку, а сверх того, идут им доходы и с мыта, и с перевозов, и со всякой пошрины государевой. Государю же своему собирают в казну они подати и налоги, а когда нужда будет, и ратных людей набирают.

¹ «Сесть в стремя» — выйти из младенческого возраста.

— Не разумею, — немного с обидой перебил ее Иван. — Тата вот в монастыри ездил кормить братию, и обозы туда посылали с хлебом да медом...

— То, любимик мой, — улыбаясь, продолжала Софья Витовтовна, — иное дело. В монастырях кормление совсем не жалованье, а жертва для братии...

Вошел в покой сам великий князь и, слыша последние слова матери, весело сказал:

— Напомнила ты мне, матушка. Хочу на Федора Стратилата али на Никифора Сирского в Озерецкое ехать по обету.

— Съезди, съезди, сыночек, — одобрила старая государыня, — отдохни от суетных дел земных. И внуков моих возьми поклониться гробу Святого Чудотворца. Яз же нарядила, что нужно, для братии: муки, пшена, меду, холстов и полотна.

— Ну вот и прикажи, матушка, завтра все сие обозом везти, дабы все к приезду нашему уж в монастыре было.

— Прикажу, сыночек, — продолжала старая государыня, — а жертвы для храмов Божиих ты уж сам отвези. Собрали мы с Марьюшкой все, что есть у нас из церковного узорочья. Особливо же из того, что в Ростове Великом по шелку шито золотом и жемчугом. Херувимы и серафимы как дивно изделаны! Ризу еще с самоцветами и золотом шитую для игумна... Марьюшка своими руками шила ее и в дар собору Святыя Живоначальныя Троицы обещала за твое отпущение из полона...

Когда Софья Витовтовна окончила речь, Марья Ярославна отложила свою работу и, встав, с легким поклоном молвила свекрови:

— Откушай, государыня-матушка, с нами.

— Спасибо, Марьюшка, — ответила Софья Витовтовна, — токмо пошли ты ко мне Ульянушку, пусть возьмет там сласти, что на столе стоят в трапезной — смоквы, рожки и финики. От греков вчера наши купцы привезли. Тобе ж, сыночек, завтра ладану отложу для монастыря. Его мне купцы привезли тоже из Цареграда. Все сие послал с ними патриарх, который у покойной доченьки Аннушки духовником был. Пишет он, что в Цареграде ладану от арапов много сей год получено. Ты бы вот патриарху-то куниц да мех горносталя послал...

Февраля в девятый день, в среду, слушал великий князь с семейством заутреню и часы в крестовой. Служил протоиерей Александр, духовник Василия Васильевича, диакон Ферапонт и дьячок Пафнутий.

День стоял холодный и ясный, но солнце, словно янтарем, золотило слюдяные окна, и отсветы от них золотыми же решетками ложились на пол и на стены крестовой. Весело было на душе Ивана. С удовольствием слушал он могучий голос диакона Ферапонта и думал о поездке в монастырь. Весел был и великий князь и, встречаясь глазами с сыном, ласково ему всякий раз улыбался.

После заутрени завтракали все в хоромах у старой государыни, и перед тем, как всем помолиться перед дорогой, Софья Витовтовна спросила великого князя:

— Много ль дружины с собой берешь?

— Нет, немного. Игумен и келарь мне верны. Посулил им угоды и вклады.

— Ну, вклады-то все берут без отказа, — прервала его с усмешкой Софья Витовтовна. — Не верь монахам-то, своекорыстны чернецы...

— Ведаю, государыня-матушка, — весело промолвил Василий Васильевич, — да не боюсь! Сама знаешь, не собой сильны мы, а Москвой.

— Право разумеешь, сыночек, а все ж помни: не один едешь, с сыновьями. Шемякину миру не верь. Стражи больше бери — береженого Бог бережет.

— Теперь никакого зла сотворить не посмеет Шемяка-то. Татар побойтся: царевичи Касим да Якуб со своими нукерами дороги стерегут и от Галича и от Углича. Смирился князь Димитрий Юрьич. Крест мне целовал вместе с князем можайским...

— Смирен волк, пока пастухи не ушли, — спокойнее уж ответила старая государыня и, вставая, добавила: — Ну, а теперь помолимся перед дорогой-то и посидим.

Все встали и, земно кланяясь, помолились, а потом вслед за Софьей Витовтовной сели на скамьи в молчании. Первым поднялся Василий Васильевич и молча поклонился матери.

— Благослови тебя Господь, — проговорила она, крестя сына, и трижды поцеловала его.

Порывисто обняла Василия Васильевича Марья Ярославна и, целуя его, с тоской прошептала:

— Ох, не езд... Тошнехонько мне, свет мой. Болит душа моя... Ивана и Юрия благословили мать и бабка.

Грустно стало Ивану, будто на ясный день черная тучка нашла, но ненадолго это было. Весело все сошли с красного крыльца к саням и кибиткам, разлеглись на сене и укрылись полстями войлочными.

В самый последний срок, как саням трогаться, Софья Витовтовна, стоя около княжичей, подозвала к себе Васюка и вполголоса, но твердо ему молвила:

— Пуще очей своих береги княжичей. Перед всей Русью в ответе за них будешь. Поклянись мне правым сердцем и мыслью...

— Обещаюсь перед тобой, государыня, — снимая шапку и крестясь, сказал Васюк, — как перед истинным Богом!..

Василий Васильевич дал знак, и поезд княжой, окруженный конной охраной, двинулся к Неглименским воротам. Переехав по льду речку Неглинную, повернули направо и погнались мимо Ни-

кольского монастыря прямо к селу Танинскому. Было то во втором часу дня, а уж в третьем часу гонец Ивана Старкова поскакал из посада через Заречье к Звенигороду, где ждут давно его нарочные гонцы Шемяки, чтобы в Рузу желанную весть передать.

Глава 9

У ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ ТРОИЦЫ

Только выехал княжой поезд из саней и кибиток на дорогу, что бежит по гладкому льду Яузы, как густыми хлопьями замелькал со всех сторон снег, чуть розоватый от угасавшей зари. Потом вдруг все потемнело, замельтешило и заметалось кругом. Никогда Иван такого снега не видел. Словно белые стены встали вокруг кибитки княжичей, а через них, как пух из распоротых подушек, так и сыплет снег, так и валит валом без перемежки.

— На таких снегах далеко не уедем, — сказал белый, как мельник, Васюк, поравняв коня с саними княжичей. — Засветло уж в Танинское-то не поспеет. Хорошо, что стража впереди снег вытаптывает, а то и кибитки не сдвинешь, вишь, погода...

Налетевший ветер унес куда-то в снега конец его речи, и Васюк, махнув рукой, словно растаял в белой стене.

— Ложись в кибитку! — крикнул Ивану Илейка, сидевший на облучке, ставший похожим на снежного деда.

Иван лег рядом с Юрием.

В кибитке было темно, ветра совсем не чуялось, только слышно было, как он взывает в полях, как ударяет с налета снегом в бока кибитки да как шуршат внизу под Иваном полозья, будто у самых ушей. В темноте в глазах, если их крепко зажать, мелькают красно-зеленые решеточки, — словно соты шестигранные, они бегут то вправо, то влево, едва глаза поспевают за ними. Ни о чем не думает Иван, следя за цветными решеточками, чувствуя, как тепло постепенно охватывает все его тело, а сам он опускается в мягкие зыбкие волны...

Вдруг он очнулся, вздрогнул от неожиданности, — разбудил его плач Юрия, хватавшего его в страхе руками. Иван, впервые оставшись один с маленьким братом, растерялся и не знал, что сказать ему. Он обнял его одной рукой, а другой стал ласково гладить по лицу, мокрому от слез.

— Боюсь, Иванушка, — услышал он прерывающийся голос и сразу понял, что делать.

— А ты не бойся, — смеясь, говорит он малому братику, — возьми и не бойся. Яз не боюсь вот. А Васюк с Илейкой наруже, и то не боятся.

Юрий смолк, но, внимательно слушая, он все же спросил с беспокойством:

— А тата с нами едет?

— С нами. Когда яз выглядывал, сам его кибитку видел. Впереди нас едет.

Юрий радостно засмеялся и совсем неожиданно добавил:

— Есть хочу!

— Яз тоже, — живо откликнулся Иван, принимаясь шарить в сене вокруг себя и Юрия.

Подымаясь на колени, он запутался в своем долгополом тулупчике и упал, ударившись головой о какой-то сундучок.

— Нашел! — весело крикнул он, нащупав у себя под головой знакомый ему мелкосплетенный коробок для всякой дорожной снеди, и добавил со смехом: — Не руками, Юрьюшка, а головой нащупал!..

В темноте в этом коробке княжичи, как слепые, отыскивали ощупью изюм, колобки, копченую рыбу, шанежки, коврижки, ели всё вместе и одно за другим безо всякого разбору.

— Ты что ешь? — спросил Иван Юрия.

— Изюм. А ты?

— Рыбу с коврижкой...

Братья дружно хохотали, когда Юрий ронял что-нибудь, и они при поисках, не видя друг друга, как козлята, стукались лбами.

— Да ты в руках-то не доржи, — смеясь, кричал Иван братишке, — а клади скорей в рот, оттуда не выпадет!..

Навеселившись и наевшись досыта, княжичи один за другим незаметно заснули. Раза два Илейка подымал войлочную полсть и окликал Ивана и Юрия, но ответа не добился. Просунувшись наполовину в кибитку, он оправил на мальчиках тулупы и прикрыл их сверху мягкой толстой кошмой.

— Ишь, разоспались, — бормотал он, усмехаясь в обмерзшую бороду, — и гром не разбудит.

Хорошо спится в дороге, а на холоде и того лучше, когда сквозь щели теплой кибитки пробегают свежие струйки морозного душистого воздуха!..

Из-за метели и снежных заносов приехали в Танинское поздней ночью, уж к третьим петухам. Полупроснувшихся княжичей Илейка и Васюк вытащили из кибитки и за руки повели куда-то по глубоким сугробам. Иван смутно помнил какую-то лестницу, темные сени, где пахло хлебом, но не знал, как очутился он вместе с Юрием в жаркой избе за широким столом, и вот ест он деревянною ложкой горячие шти с полбенной кашей.

Глаза же его постоянно смыкаются, и видит он среди мелькающей ресниц, как в тумане, Юрия, положившего голову на стол рядом с блюдцем каши. Вот и его щека сама собой прижалась к дубо-

вой доске, от которой пахнет луком и рыбой. Разопрев в тепле и духоте, не хочет он и шевельнуться, а шум и гул чьих-то разговоров слышны все глуше и глуше, и вот уж будто опять у самых ушей его шуршат полозья кибитки, а в глазах мелькают и расплываются зелено-красные решеточки, словно мелкие, мелкие соты...

На другой день после заутрени у великого князя были гости. Приехал на охоту в Танинское с гончими и борзыми любимец Василия Васильевича боярин Владимир Григорьевич Ховрин. Обед, вопреки обычаю, прошел быстро, наспех, — уговорил Владимир Григорьевич великого князя на охоту с ним ехать. Недалеко совсем, в березовом острове, ловчий его Терентьич стаю волков за приметил третьеводни.

— Слушай меня, Василь Василич, — с пылом восклицал боярин Ховрин, — снег-то ныне вязкой, глыбокой! Терентьич же баит, молодых волков-то в стае много. Мы их на второй аль на третьей версте загоним! Добрые у меня кони и собаки — затравим не мало!

Василий Васильевич знал, что в Танинском у Ховрина свое подворье для наездов с охотой, а при подворье и все ухожи: изба для псарей, псарня, конюшня, погреб, медуша и поварня — хоть месяц живи, всего тут в изобилии. Вспомнил Василий Васильевич ховринских борзых и выжловков и не устоял, поехал в подворье и сыновей с собой взял Юрий в кибитке с Илейкой поехал, а Иван с Васюком верхом поскакали.

На дворе у Ховрина все уж для охоты было готово. В ожидании хозяина стояли и проезжали псари с высокими поджарыми борзыми на сворах и с головастыми лопухими гончими на смычках. Шум стоял такой, что, разговаривая, кричать нужно. Ржут лошади, собаки грызутся, ворчат, лают, перекликаются охотники, ласково кличут собак по именам или ругают их, громко хлопая в воздухе арапниками, трубят рога.

Хозяин, не давая горячиться своему аргамачу и указывая Василию Васильевичу на пару короткошерстных черных борзых в своре у своего ловчего, рыжебородого Терентьича, кричит весело и радостно:

— Гляди, государь, оба эти хорта — угорские! Уж и хватливы же они! Тобе подвести их велью, а других сам, каких изволишь, выбирай: хортов ли, из наших ли псовых, или угорских. Какая твоя воля. Терентьич подведет тебе каких прикажешь.

— Вот тех, псовых, возьму, серых с подпалинами, — говорит Василий Васильевич, указывая арапником на свору другого псаря с особенно длинномордыми собаками. — Примета у меня есть: не столь правило, сколь длинной щипец важен.

— Бери, бери, господине, — зычно кричит Владимир Григорьевич, трясая светлой пушистой бородкой, — да не откажись и от других, от этих вот польских хортиц. Ух, горячи да хватливы! Луч-

ше кобелей. Гляди, у которой щипец длинней, от ее борзят жду. Уж я те лучшего шеня оставлю...

Князь заговорил с подъехавшими к нему стремянными, ловчим и доезжачим, совещаясь насчет порядка охоты.

— А какие сии вот большеголовые собаки? — спросил Иван у Васюка.

— Выжловки, княже, — ответил тот, — на смычке они, как и борзые на своре, парой ходят. Борзые хватают зверя, а выжловки гнать приучены по зверю и лаять. Сам доезжачий с выжлятниками обучает их. Видал я ховринских-то выжловков на следу — зело гонки! Никакого зверя не упустят, так по пятам и гонят, будь то медведь, лиса, волк али заяц. Да сам вот увидишь, покажу я — стремянным твоим буду.

Отъехав верст на пять от Танинского, охотничий поезд свернул на обширную снежную поляну, окаймленную лесами, тянущимися зубчатым гребнем по всему кругозору. Вблизи же, версты за полторы, виднелся небольшой отдельный лесок, остров из желтоствольных сосен с зелеными лапами хвои и белоствольных березок с голыми темно-коричневыми сучьями. Опушка его из густых кустов орешника, калины, бузины и боярышника казалась издали мягким меховым околышем огромной лесной шапки, брошенной на снег.

Охотники остановились, разбирая своры борзых и смычки выжловков, спутавшиеся в пути. Стремянные подвели своры к князю. Подъехавший ловчий указал Василию Васильевичу и боярину Ховрину их места у опушки, по краям поляны, указал и княжичу Ивану, где стоять ему с Васюком, а также и всем своим борзовщикам. Доезжачий стал отдельно с выжлятниками.

Когда все разместились, Терентьич оглядел внимательно все поле и, оборотясь к доезжачему, приложил руку ко рту и громко закричал через поле:

— Закинь выжловков на остров-то!..

По знаку доезжачего выжлятники подтянули смычки гончих и поскакали, огибая остров с двух сторон. Они должны были, оцепив лесок, начать гон с другой его стороны, гнать зверя на чистое поле.

Княжич Иван остался один с Васюком и, шурясь, смотрел на синее, еще по-зимнему сияющее небо и на сверкающий от солнца крупнозернистый снег. Он ни о чем не думал и только жадно прислушивался в звонкой тишине полей к далеким, чуть слышным выкрикам, доносившимся с острова. Так же напряженно прислушивался и Васюк.

— Со смычков слушают, — сказал он Ивану, и как раз в это время далекий звонкий лай зазвенел с острова.

С каждой минутой лай становится громче и громче. Вот уже слышны отдельные голоса, нетерпеливое повизгиванье и подвыва-

ные наиболее горячих псов. Вот всюю заливаются справа, вот еще сильнее твякают, лают и визжат слева.

— Гонят! — с прерывистым вздохом не сказал, а выдохнул Васюк.

Иван почувствовал, как сердце задрожало у него под самым горлом, а губы сразу пересохли. Собачий лай приближается, крепнет, сливается в спутанный хор, и, как взмахи хлыста, прорезает его иногда тонкий сверлящий визг. Вот слышно уж и псарей.

— Агу! Атата! — раздаются их вопли и выкрики. — Агу! Атата!

Борзые нетерпеливо завоились на сворах, скуля и порываясь вперед, но Иван и Васюк не обращают на них внимания. Словно застыв, сидят они на конях, всем телом подавшись вперед и жадно пиваясь в опушку острова.

Вот справа, за четверть версты от них, стрелой из острова вылетел зверь и, взметывая снег, помчался по полю. За ним другой, третий, потом сразу три и еще четыре волка!

Тотчас же из всего полукруга опушки вырвались из кустов высокие поджарые борзые, а следом за ними поскакали на конях охотники.

— Спускать свору? — крикнул Иван, дрожащими пальцами перебирая сыромятный ремень, но Васюк только отмахнулся от него рукой.

Охотники вместе с собаками врезались в стаю волков, и стая сразу распалась. То парой, то в одиночку волки помчались в разные стороны. Каждый охотник отдельно погнался со своими борзыми за одним, только им облюбованным, волком.

Иван начинал понимать, что и как происходит перед его глазами. Вот и выжловки выскочили из острова, но псари ловко и быстро привычным приемом снова берут их на смычки.

— Что ж мне-то деять? — шепчет Иван в недоуменье и оглядывается на Васюка.

Тот резким движением арапника указывает на поле. Иван взглядывает вперед и видит: два серых волка бегут вперевалку прямо на него. Внезапно его охватил страх. Много сказок и рассказов с детства слышал он о волках, и вот эти широколобые, страшные, зубастые звери мчатся на него...

— Свору спускай! — слышит он крик Васюка, но по спине у него бегут мурашки, а руки плохо слушаются.

Вот уже четыре борзых, спущенные Васюком, несутся наперез волкам.

— Спускай, не зевай! — кричит Васюк, и Иван, наконец, овладев собой, быстро спускает свою свору.

Его пара муругих псов опередила борзых Васюка. Волки остановились на мгновение и, поворачиваясь всем телом то в одну, то в другую сторону, оглядели поле. Один из них, что крупней и серей, неожиданно бросился назад к острову, подмяв борзую. Другой

рванулся за ним, но муругие Ивана оттеснили его назад. Матерой же крупными скачками подбежал к самой опушке и скрылся в кустах.

— Будем загонять молодого! — крикнул Васюк. — Скачи за ним, Иванушка!

Они поскакали оба за волком. Тот все чаще и чаще при быстром беге тяжело проваливался в снег, выпрыгивал из образовавшейся ямы, но так же быстро бежал дальше, хотя и увязал выше брюха. Поджарые длинноногие борзые вязли меньше волка и, нагнав его, бежали за ним сзади и по сторонам. Время от времени волк поворачивался на бегу к собакам и щелкал зубами. Собаки отскакивали. Волк, выигрывая время, несколько уходил вперед, но, уж заметно уставая, замедлял бег. Иван и Васюк легко нагнали на конях и волка и борзых. Иван видел зверя совсем близко. Вдруг Васюк, ударя коня в бока острыми шпорами и яростно взмахивая нагайкой с куском свинца на конце, погнался за волком и закричал во весь голос Ивану:

— Сей часец нос ему перебью! С единого удара насмерть!..

Мимо собак Васюк поскакал прямо на зверя, но волк будто понял угрозу и, напрягая все силы, быстрее замелькал ногами, затиснув хвост меж задних ног и прижав со страха уши, словно ожидая удара. Делая отчаянные скачки, он, прыжок за прыжком, снова опередил собак и пробежал далеко от Васюка.

— Улю-лю! Атата! — закричал тот неистово и снова погнал коня.

Волк же, то выпрыгивая, то зарываясь в снег, скакал все дальше и дальше. Так же, словно ныряя в снегу, гнались за ним борзые, но заметно отставали.

— Уйдет! — громко вскрикнул Иван и, не жалея плети, погнал коня.

Опять волк и собаки стали приближаться к нему, будто снежное поле вместе с ними само передвигалось назад. Иван опять близко видел ощетинившегося зверя с неповорачивающейся шеей и прижатыми ушами.

Догнав Васюка, Иван хотел что-то крикнуть ему, но сразу забыл все. Внезапно повернувшись всем телом к наседавшему на него кобелю, волк рванул его зубами. Собака взвизгнула и кубарем завертелась на месте, густо кровеня снег, но борзая из своры Ивана прыгнула на зверя с другой стороны и вцепилась в загривок. Как пиявки, сразу впилась в волка остальные собаки и растянули зверя. Васюк пал на него камнем с коня и схватил его левой рукой за дрожащие уши, а в правой блеснул у него нож. Зверь захрипел и упал набок. Кровь захлестала у него из горла, язык вывалился, но большой, еще живой глаз, постепенно угасая, дико глядел, казалось, прямо на подъехавшего Ивана. Княжич был возбужден и радостен, но

взгляд умиравшего зверя отяжелил его сердце. Стало жаль молодого красивого волка с густой сероватой шерстью.

— Добрая полсть из такой шкуры выйдет! — весело крикнул Васюк, обтирая окровавленный нож об шерсть волка.

После охоты выехали в Братошино почти затемно, а в ночь стало тепло и опять пошел снег. Боярин Ховрин с небольшим отрядом из псарей своих поехал провожать Василия Васильевича.

За поздним ужином в Братошине Владимир Григорьевич сидел рядом с великим князем. Они пили водку и мед Василий Васильевич шутил и смеялся над советами своего любимца.

— Зря ты страшишься, словно конь темного куста, — говорил он громко, — по вотчине ведь своей еду, не в чужой земле!

Но боярин Ховрин морщил лоб, крепко сдвигая брови.

— Смотри, государь, — промолвил он озабоченно, — в такое время можно ли оплошным быть? Воля твоя, а яз буду со своим отрядом в деревеньке Горелой, что у реки Вори, к Радонежу поближе. Ты же от своей стражи хоть малое число воев оставь на дороге, не доезжая монастыря, а коль будет случай какой злой, ты загодя и борзо о том узнаешь.

Василий Васильевич согласился в угоду любимцу своему и добавил:

— Ныне никакой пакости мне не сотворят ни Шемяка, ни Можайский. Стали сии звери ручными. Токмо для-ради покоя твоего содею по твоему совету поставлю своих воев на Паже-реке.

Иван, глядя на смеющиеся, веселые глаза отца, тоже улыбался. Он считал его правым, и страхи Ховрина казались ему такими же детскими, как страх Юрия в темной кибитке. Теперь Иван гордился отцом и верил в его силу, вспоминая, как раненый Ростопча рассказывал бабке об удалом бое великого князя с татарами Улу-Махмета. Все же конца разговора он не дослушал — разморил его сон, и еле-еле дошел он до скамьи, где ему постель постелили.

На другой день, в первом часу после обеда, поезд князя выехал из Братошина к небольшому граду удельному, к Радонежу, срубленному на высоком мысу у слияния рек Вори и Пажи, в двух верстах от села Воздвиженского, что стоит на самой дороге из Москвы, в четырнадцати верстах от Сергиевой обители.

Здесь Владимир Григорьевич Ховрин свернул с большой дороги влево, поехав со своей стражей по льду вдоль Вори к Радонежу, а Василий Васильевич оставил малое число воинов справа от Радонежа, у села Воздвиженского, на крутом берегу Пажи, и двинулся со всем своим поездом к монастырю в четвертом часу дня. А день был ведрен и ветрен, с оттепелью. К заходу же солнца, когда поезд на рысях подъехал к Клементьевой горе, стали набегать тучки.

У оврага, промытого речкой Кончурой, великий князь прика-

зал остановиться и вместе с Иваном пошел пешком к Никольским воротам, у северной стены монастыря. Княжич впервые увидел прославленный монастырь, такой простой и суровый. Весь деревянный, с деревянными стенами и башнями, он словно врос в голое темя лесного холма. Только один белокаменный собор Святыя Живоначальныя Троицы с золочеными маковками и крестом величественно возвышается среди обступивших его тесным четырехугольником маленьких деревянных келий братии. Крупнее этих избушек только храмина братской трапезной, построенной на юг от собора; позади келий, у восточной стены, келарские палаты для угощения и ночлега почетных гостей и высокая деревянная звонница с тремя колоколами, недалеко от собора, к западу от него. Но всего не мог хорошо разглядеть Иван. Когда он спускался с горы, идя вслед за отцом, стены монастыря как будто росли, поднимаясь все выше и выше, а все постройки словно проваливались между ними.

В Никольских воротах великого князя при звоне колоколов встретил с крестом и святой водой сам игумен со священниками и диаконами, все в шитых золотом ризах.

Великий князь умилился от радости и воскликнул, обращаясь ко всей братии монастырской:

— Удостоил мя Господь снова святыни сии видети! Молитвами Святых Отец и всех христиан спас мя Христос от мучений и смерти, извел из полона!..

После краткой молитвы Василий Васильевич, благословясь у игумна и поцеловав крест, вступил с сыновьями во двор прославленной обители. Поднявшись от Никольских ворот к собору, вошли все в храм через главные западные врата.

Княжич Иван с изумлением остановился посередине церкви, дивясь обилию в ней света, казалось втекающего широкими волнами через легкий купол и окна в стенах. В этом свете сияли, играли и переливались всеми цветами на стенах яркие краски росписи, словно освещенные горячими лучами солнца. Даже внизу у стен и в углах, где все уже тускнело, наступающая тьма не могла еще загасить радостных красок.

Никогда и нигде Иван не видал такой росписи и красок на стенах, на иконах алтаря и в глубине купола. Даже икона, виденная им без оклада в Переяславле у кузнеца Полтинки, не могла по краскам равняться по красоте этой церковной росписи.

Засмотрелся Иван, забыл все и не слышал, что отец зовет его. Очнулся, когда Васюк взял его за руку и зашептал:

— Пошто нейдешь-то? Государь тя кличет ко гробу преподобного. Иди ўторопь, а то осерчает государь-то! Гневлив он...

Княжич поспешил к правому приделу, где у южной стены, между клиросом и входными дверями, возвышается деревянная сень

над гробом Сергия Радонежского. Здесь на дубовом гробе, покрытом парчой, стоят в головах святого его келейные иконы, — а сбоку висит на стене образ самого Сергия, шитый во весь рост на шелковой пелене. Пелена эта дивно изготовлена монастырскими вышивальщиками по иконе инока Рублева, лик же Сергия на ней самим знаменитым иконописцем шит. От лика преподобного почему-то стало страшно Ивану. Особенно пугали глаза. Ясные и не строгие, они как-то охладили грудь и сердце княжичу. Казалось, Сергей глядит прямо в душу всякому, кто взглянет на него...

Заметив подошедшего сына, Василий Васильевич ласково улыбнулся ему.

— Велика святыня сия, — сказал он Ивану, — и яз упования свои на сию святую стражу возлагаю более, чем на дружины свои. Знай, Иванушка, мы здесь крест целовали с братьями моими, князьями Шемякой и можайским, идучи на царя Улу-Махмета. Боясь проклятий, не дерзнут они, при всем зле своем, на измену пойти и клятвы свои порушить...

Он замолчал от волнения, пал на колени и, обратясь к Ивану, сказал:

— Помолимся же, сыне, преподобному Сергию у его гроба, да ниспошлет он нам силы и оградит нас от бед.

На другой день, тринадцатого февраля, княжичей не будили к утренним часам — они встали позже, только к самой литургии.

Войдя в собор с Васюком, княжичи прошли мимо иноков к правому клиросу, где недалеко от гроба преподобного Сергия стоял великий князь. Иван и Юрий встали рядом с отцом. День был погожий, и солнце сквозь голубую дымку ладана, клубившегося от кадил, пронизывало храм со всех сторон широкими полосами света. Радостно играли краски стенной росписи и горели яркими цветами на иконах иконостаса, блестело золото и сверкали камни самоцветные на окладах и крестах. Вспыхивали неожиданно ризы священников и диаконов, когда входили они в полосу света.

Радость и покой охватили душу Ивана, и, слушая духовное пение, поглядывал он на отца, молившегося рядом с ним с умилением и кротостью. Пропели Херувимскую, и тихо стало совсем, слышно лишь невнятно молитвы из алтаря да звяканье цепей о крышку кадила у диакона, кадившего перед образами. Загрезилось Ивану, как в сказке, и вдруг шум, говор в дверях, суета и волнение нарушили благочиние и благолепие церковного служения.

Оглянувшись назад, княжич увидел в дверях Семена Архипыча Бунко, что недавно отъехал от них к Шемяке. Переводя с недоумением глаза на отца, заметил Иван, как потемнел и нахмурился он, а ноздри его широко раздулись. Бунко же шел быстро, торопясь скорей подойти к великому князю.

Сразу все замерло в храме, тревога охватила всех, а некоторые из бояр великого князя, что вместе с ним приехали, сменились с лица. Бунко тоже был бледен, и губы его дрожали.

— Великий государь, — заговорил Бунко, голос у него срывался, — великий государь, прости слугу своего... Токмо для-ради тебя и чад твоих, для-ради Москвы нашей...

— Ну? — резко перебил его Василий Васильевич — Что тебе надобно, раб лукавый?

— Прости, государь, — продолжал Бунко. — Вести худые и грозные принес, прости за то...

— Какие вести?

— Идет на тебя князь Димитрий Шемяка да князь Можайский ратию, идет со всем злом на тебя! Изгоном из Рузы на Москву идут...

Бунко смолк, опустив голову, а Василий Васильевич зло рассмеялся и, обратясь ко всем своим людям и к духовным отцам, громко воскликнул:

— Сии слуги неверные, они смущают нас, а яз со своей братией в крестном целовании! Не может так быти, лжа то на братьев моих!

И, гневом распаясь, приказал великий князь выгнать изменника своего из монастыря вон. Бунко же, устрасясь гнева его, выбежал из храма к коню своему, а люди из княжой стражи погнались за ним.

Все это испугало Ивана. Вспомнил он предупреждения бабки, и казалось ему, что отец не так сделал, как нужно; а что нужно, Иван и сам не знал.

— Не гневишь на меня, государь, — сказал в это время один боярин, — может, Бунко и зря баил, воровства ради, а может, и правду. Пошлю-ка яз к Радонежу еще воев десяток на всяк случай...

Иван обрадовался такому совету, но с тревогой смотрел на отца, ожидая, что скажет он. Василий Васильевич больше уж не гневался, а сразу стих, как всегда, и успокоился. Обратясь с улыбкой к боярину, сказал он весело:

— Посылай, Семен Иваныч! Ты, вижу, как и боярин Ховрин, страшлив вельми.

Среди густых лесов, зимой совсем непроезжих, выются дороги только по речным руслам да по недлинным просекам между замерзших рек, там, где летом волоки были или гати настланы. Растянувшись в ниточку, скачет десяток воинов к Радонежу, где меж этим градцем и селом Воздвиженским, на самом угоре крутого берега Пажи, оставлен был Василием Васильевичем дозор.

За час проскакали конники из Сергиевой обители все четырнадцать верст до реки Пажи. Еще издали видят дымок от костра, и коновязи с конями, и воинов у самого костра.

— Ну и дозор! Чтоб им пропасть! — кричит передовой Митрич. — Как на ладони сидят!

— И костер еще развели! Чай, пшено варят, — смеясь отозвался ближний конник. — А вон, гляди! Заметались, нас приметили...

— Ну и бараны! — крикнул опять Митрич. — Всполошились, а разуму нет, что мы с монастыря, а не из Москвы гоним. Вон, Андреяныч шапкой машет, узнал...

Конники съехали с дороги, и сразу снег стал коням по брюхо. Шагом пошли, будто вброд по воде.

— Здорово, Андреяныч, — крикнул Митрич весело. — Не утонем мы тут?

— Не бойсь, — ответил, смеясь, Андреяныч, — глыбже девяти пядей нигде нет!

— У нас один Гришуха утонул было, — крикнул рослый парень, — зашел вброд по самый рот! Ладно не вода, а то захлебнулся бы!..

Все захохотали, хорошо зная, что ростом Гришуха в обрез во семь пядей.

— Что? Сменять нас приехали? — спросил Андреяныч. — Иззябли мы тут, студено в сырости да на ветру...

— Где сменять! — злобно буркнул Митрич. — Шемяка, бают, окаанный, сюды идет, а может, и врут, на ветер лают. Пока же грейся вот, православные! Князь водки с нами прислал — у каждого по две сулеи. Нас десять, и вас десять — всем по одной...

— Го-го! — радостно зашумели кругом. — Да будет здрав государь наш!

— Садись к огню, у нас каша поспела!

— Попьем-поедим во славу государеву!..

— Пить-то пей, — сурово заметил Митрич, — а на дорогу гляди!

— Что глядеть-то! — усмехнулся Андреяныч. — Вон она вся на виду, отсюда ее до самого бора видать.

— А вас и еще лучше видать, за целую версту мы вас узрили... Эй, гляди, едут из бора-то...

На дороге показались многие сани-ропуски с кладью, закрытой рогожами, а на иных полстями из войлока. Позади же каждого воза один человек идет.

— То сироты монастырские, — засмеялся Андреяныч, — поди, рыбу под рогожами в обитель на возах везут, а мы и водку пьем, да страшимся...

— Бери ложки-то, — крикнул веселый рослый парень, — не каждый день пшено с водкой едим! Выпьем по полной, век наш недолгой!..

Он выпил и, крякнув, добавил со вкусом:

— Нет питья лучше воды, коли перегонишь ее на хлебе!..

— Что и баить, — отозвался Митрич, — слеза хлебная...

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

Авва (церк.) — отец; о настоятеле монастыря или монахе-старце.
Азанча́ (тат.) — духовное лицо (по-арабски — муэдзин), призывающее с минарета мечети к молитве — *намазу*.

Азя́м — мужское платье свободного покроя, длинный кафтан из сукна или дмотканины.

Ака́фист — хвалебная песнь Христу, Богородице и наиболее чтимым святым.

Аманáт — заложник.

Амво́н — возвышение в церкви перед алтарем.

Бакши́ш (тат.) — подарки.

Ба́харь — сказочник, краснобай.

Бель — мех горностая.

Бе́рдышник — воин, вооруженный бердышем — широким топором, иногда с гвоздевым обухом и копьем на длинном древке, напоминает алебарду.

Берча́тые (скатерти) — наборные, камчатные.

Бы́ки (тат.) — князья.

Боля́рцы — провинциальные чиновники, ведающие снабжением войск во время войны, интенданты.

Борзо́вщик — псарь, ведающий борзыми собаками.

Боры — подати.

Боя́рок — вид судна.

Брата́нич — сын брата, племянник.

Бро́дится — переходить вброд.

Ва́па — краска.

Варяжское море — Балтийское.

Велéс — языческий славянский бог, покровитель скота.

Вели́к день — Пасха.

Взме́тная грамота — с объявлением о начале военных действий.

Взме́тчик — лицо, посылаемое с взметной грамотой.

Взять на патрахиль — то есть на *епатрахиль*, под покровительство церкви.

Винная ягода — инжир, смоква.

Вѣтень — факел, свитый из просмоленной пеньки.

Вѣздѣх — тонкий шелковый плат, употребляемый при богослужении.

Волостѣль — начальник области у князя, боярина и у духовных лиц, владеющих землей.

Вольной — независимый.

Воровствѣ, вор — изменщик, переметчик.

Вѣтчинник — владетель вотчины, владения, купленного или пожалованного с правом продажи и передачи по наследству (в противоположность поместью).

Вѣжловки — гончие собаки; *вѣжлятник* — псарь, ведающий гончими.

Вѣть — мера земли, тягловый участок для определения размера подати, а также время работы — «урок», роспись налогов, рабочее время от еды и до еды.

Вѣход — налог, дань, поземельный разовый сбор, который в виде подношений брали князья в Орду.

Гомозѣться — беспокожно метаться, суетиться.

Гость — именитый купец, торговавший и в чужих землях.

Градѣк — небольшая крепость.

Грѣвенка — денежная единица мерой веса в 200 граммов серебра.

Гульбище — балконы и проходы между ними, огороженные перилами и решетками.

Дань — любого вида подать, пошлина.

Дѣвѣнскіе грамоты — касающиеся промысловых угодий, написаны в конце XIII века.

Дѣвѣрскій — должностное доверенное лицо князя или боярина.

Дѣисѣус — иконная группа из трех образов: Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи, а также основной ряд иконостаса.

Дѣньга, дѣнежка — четыре копейки серебром.

Дѣти боярскіе — вольные слуги князя с правом отъезда к другому хозяину, позднее — землевладельцы знатного происхождения.

Доезжачій — загонщик на охоте.

Докончанье — договор.

Доминиканскій орден — нищенствующий орден, основан в 1215 году монахом Домиником. В 1232 году папство передало в ведение доминиканцев инквизицию.

Достакан — стакан.

Дукат — старинная золотая монета ценой около 3 рублей по курсу XIX века.

Ез — перегородка из кольев и прутьев через реку с отверстием посредине для прохода рыбы, через которую она попадала в вершу или кошель.

Епитрахиль — часть облачения священника, надеваемая на плечо полоса материи, без которой нельзя совершать богослужение.

Епитрахильная грамота — письменное дозволение вдовому священнику служить и совершать требы.

Ерик — небольшой речной или озерный рукав.

Животы — скот и прочее имущество.

Житный приказ — ведающий закупками фуража и хлеба в казну на случай войны, а также и для торговли.

Жито — зерновой хлеб: в центральных областях — рожь, на севере — ячмень.

Житийские люди — житийские люди: относящиеся к городским зажиточным сословиям, а также несущие службу при дворе князя или в уездных городах, то же, что и боярские дети, дворяне.

Жрэбий — часть доходов.

Задущные грамоты — грамоты, составляемые на передачу какой-либо собственности по смерти вкладчика в монастырь, но могли быть и на освобождение холопа, то же, что и «задушье».

Зажора — вода под снегом в ямах и рытвинах на дорогах в ростепель.

Зажора — низкие участки, покрытые водой.

Замяття — замешательство, суматоха.

Заспóй — крупа овсяная.

Зелье — порох.

Зернь — игра в кости.

Изго́ном — стремительно, поспешно.

Изра́да — измена, обман, предательство.

Ипский — от названия фландрского города Ипр, который в XIII—XIV веках был центром производства знаменитых тогда сукон и бархата.

Казáк — тогда легковооруженный воин, представитель низшего разряда татарского войска; бродяга, вольный человек, кочующий с места на место.

Казённый приказ — учреждение, ведавшее на Руси сборами, расходами и хранением государственных средств.

Ка́менный Пояс — Уральские горы.

Камка́ — шелковая цветная узорчатая ткань китайского происхождения.

Камчуга́ — подагра.

Кано́н — церковное песнопение.

Ка́пище — языческий храм.

Кара́чи́и (тат.) — самые знатные из татарских князей Казанского ханства.

Ка́рбус (карбас) — гребное парусное судно.

Ката́рга (каторга, катарха) — гребное судно, род галеры.

Кафа́нский (кафа́мский) — привозимый из Кафы — Феодосии.

Киво́т (*кио́т*) — божница, застекленный шкаф, где хранятся иконы.

Кизи́л-ба́ши — красноголовые, так называли на Руси персов за носимые ими красные чалмы.

Кила́м — ковер, сотканный из верблюжьей шерсти, полосатый.

Кипча́ки — половцы.

Клир — свита высокого духовного лица (митрополита и т. д.)

Когг — ганзейский корабль, вооруженный пушками.

Козю́лка — печенье в виде козла, приносилось в дар домовому.

Конча́р — длинный нож.

Коню́шенный — боярин, ведающий конюшненным приказом, которому вменялось заботиться о царском выезде и сборе пошлин с торговли лошадьми.

Кора́бленники — золотые западноевропейские монеты с изображением корабля.

Коро́льки́ — бусы или пуговицы из кораллов, самоцветов или из золотых или серебряных шариков.

Коромы́сло — насекомое стрекоза.

Кресто́вая — домовая церковь.

Кресто́вые дьяки — дьяки, принявшие присягу.

Кри́ца — свежая глыба вываренного из чугуна железа.

Кры́лосы (*кли́росы*) — место для певчих справа и слева от алтаря.

Кула́га — тесто с солодом; блюдо из соложеного теста.

Лал — благородная шпинель, драгоценный камень, по цвету близкий к рубину, но менее твердый.

Лegáт — представитель папы, кардинал или архиепископ, при правителях в католических государствах.

Лéтник — легкая женская одежда.

Лóкоть — мера длины, равная длине руки от локтя до конца среднего пальца, приблизительно 14 вершков (45—47 сантиметров).

Лоша́к — полуконь, животное от осла и кобылы.

Лу́кно́ — деревянная с обручами посуда, мера емкости.

Ма́лай (тат.) — мальчик.

Ма́лица — меховой балахон из оленьего меха, надеваемый мехом к телу.

Мурза́ (тат.) — знатный сановник или богатый купец.

Муру́гий — рыжевато-желтый или темно-серый мех в темных пятнах или подпалинах.

Мы́льня — баня.

Мы́тник — сборщик мыта, пошлины, налога с покупаемого и продаваемого на торгу.

Мы́то — пошлина.

Мя́кая ру́хлядь — меха и меховая одежда.

На́больший воевода — главное военное и должностное лицо в войске.

На́вис — грива, челка и хвост коня.

Наде́лок — часть имущества, которым наделяли в качестве приданого, наследства и т. п.

Нама́з — молитва у мусульман.

Наса́д — речное судно с наставленными бортами для большей их высоты.

Неве́глас — человек неученый, невежественный, не приобщенный к христианской культуре.

Нечуна́й — неучтивец, грубиян.

Ну́керы — телохранители хана и его конная стража.

Ну́нций — посол духовного чина от папы.

Обжа — мера пахотной земли, служившая единицей обложения. Новгородская обжа равна 5 десятинам, а старая обжа равнялась 15 десятинам.

Обжная дань — поземельная рента.

Обро́к — обложение крестьянина в пользу помещика или государя.

Обро́нно — резьбой внутрь, с рельефом.

Оби́начиться — объединяться, заключать союз с кем-либо.

Однора́дка — мужская однобортная одежда, кафтан.

Око́льничий — придворный чин и должность на Руси XIII—XVIII веках, в обязанность входило обеспечение особы государя в походах, представление послов и другие поручения гражданского и военного характера.

Омофо́р — наплечник, длинный, с вышитыми крестами широкий плат в облачении архиерея, надевается крестообразно.

Опа́сные грамоты — охранные грамоты.

Опа́шень — род шубы, с прямым открытым воротом и длинными рукавами.

Оплече́ — защита, оплот.

Осло́п — палка.

Отказная грамота — духовная, завешание, а также грамота на владение чем-либо по договору.

Панаги́я — нагрудная икона высших иерархов церкви, начиная с епископа.

Папи́сты — сторонники папы, католики.

Пасха́лия — таблица празднования Пасхи и связанных с нею переходящих праздников, рассчитанная на годы вперед.

Переветник — перебежчик, предатель, шпион.

Пивно́й ста́рец — помощник келаря, ведающий варением, хранением, раздачей пива братии монастыря.

Пища́ль — артиллерийское орудие типа пушки, с запалом, могло быть и ручным — пищаль-ручница.

По разру́бу — по разверстке, раскладу повинностей.

Погáные (церк.) — неверные, нечестивые, некрещенные, также христиане иноверцы, еретики.

Подво́йский — судебный пристав, а также исполнитель приговоров веча.

Подéста — глава городской общины в Болонье.

Пожило́е — установленная законодательным путем пошлина, уплачиваемая крестьянином при переходе от одного землевладельца к другому за пользование домом и дворовыми постройками.

Полото́к — полтуши, разрубленной вдоль, или большой кусок мяса.

Полууста́в — рукописный шрифт с отчетливым и упрощенным изображением букв, в отличие от устава.

По́роки — стенобойные орудия.

По́ртище — вообще одежда, белье.

По́руб — захват, грабеж.

Пору́ха — порча, вред.

Посе́льский — управляющий в княжеской, боярской, монастырской вотчине.

Похме́лье — острое кушанье из кислой капусты, соленых огурцов и прочих овощей и пряностей для опохмеления.

Пра́вая грамота — данная в свидетельство оправдания по суду.

Прави́ло — хвост борзой.

Прела́т — в католической и англиканской церквах — высшее духовное лицо.

При́сный — всегдашний, вечный; а также близкий человек.

При́став — надсмотрщик, надзиратель, смотритель.

Присыла́ться — посылать послов.

Прóклятые гра́моты — письменные клятвы с призывом на клянущегося Божьего проклятия в случае их нарушения.

Протíвно — вопреки.

Протóри — издержки.

Пря́женный — жаренный в масле.

Пядь — расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами. Старинная мера длины, равная четверти аршина.

Размётная грамота — объявление войны.

Размы́сл — инженер.

Рат — совет при ратуше, городской совет, магистрат.

Ра́тман — член магистрата.

Рёпица — верхняя часть хвоста лошади, нижняя часть — махалки — длинный волос.

Рудо-желтый — оранжевый.

Рушвёт (тат.) — взятка.

Рушница — ручная пищаль, фитильное ружье с подставкой.

Рыбий зуб — моржовая кость.

Сáженье — узорочье из жемчуга и драгоценных камней в виде нарукавников, воротников и проч.

Сáккос — одежда высшего духовенства, прямая, с короткими рукавами, из дорогой материи, часто из парчи.

Сарачи́нское пше́нó — то есть сарацинское, так называли рис.

Свей — шведы.

Свей — шведы.

Светя́ц — подставка для горящей лучины.

Свя́тцы — календарь, где святые обозначены по дням недели.

Святы́е дары́ — причастье (вино и хлеб, освященные при богослужении).

Сéстрич — племянник по сестре.

Сеу́нч (тат.) — радостное известие, посылаемое с вестником.

Си́роты — смерды, податное население.

Скарла́тный — из шарлат-сукна, высшего качества, велюровый.

Складная грамота — грамота с объявлением войны снятие принятого на себя обязательства.

Сóбина — все имущество, живность, пожитки, богатство.

Сови́к — балахон из оленьего меха, надеваемый поверх малицы шерстью наружу, с капюшоном из пушистого меха.

Сокóльничий — боярин, ведавший соколиной охотой царя.

Сóрок — в старину считали сороками, единица счета, содержащая четыре десятка.

Сорочи́ны — поминки на сороковой день после смерти.

Сб́чиво — молоко, получаемое из орехов и масличных зерен и семечек.

Соя́ньши — закут в избе, бабий угол, стряпная, за переборкой.

Сруб — тюрьма земляная в виде сруба, узника бросали через отверстие вверху.

Стиха́рь — нижнее облачение священников и верхнее — дьяконов при богослужении.

Столбова́я изба́ — особое помещение в княжеском тереме для торжественных обрядов и застолий.

Столе́ц — табурет.

Стремя́нный — то есть стремянный конюх, дворянин, ведавший в походе великокняжескими лошадьми, принимающий изпод великого князя лошадь, «ходящий возле стремени», кареты, саней.

Струфоками́л-птица — страус.

Судна́я грамота — судный устав.

Судна́я пошлина — взимаемая за судопроизводство.

Сулея́ — плоская винная бутылка, полуштоф.

Су́лица — род копья с большим двусторонним ножом или широким кинжалом на конце древка.

Сурна́ — музыкальный инструмент в виде дудки, оглушительного, резкого звука.

Су́рожское море — Азовское.

Схи́зма — раскол внутри церкви, не касающийся основных догматов, то есть учения веры, а только обрядов.

Тавле́й — шахматы.

Тамга́ (тат.) — знак, печать, клеймо.

Танка́на (капта́на) — зимняя повозка, закрытая колымага, утепленная и поставленная на полозья.

Тегиле́й — толстый стеганный кафтан, защищающий от ударов стрел.

Ти́ра — папская митра, имеющая вид тройной золотой короны с крестом на верхушке.

Тиву́н — управитель волости, сельский судья.

Толма́ч — переводчик.

Ту́га — горе, скорбь.

Ты́сяча — воинское подразделение у татар, состоящее из десяти сотен.

Тюфа́к — огнестрельное оружие, пушка мелкого калибра.

У́жище — веревка.

Ула́ны — легкие всадники, составлявшие ханский конвой, охрану.

Ула́ны (тат.) — телохранители, царский конвой.

Улём (тат.) — учитель, наставник.

Улус — волость под властью хана.

Уставная грамота — устав о суде и расправе который давался городу, волости.

Фаблио — мелкие бытовые сцены шуточного и двусмысленного содержания с меткими замечаниями, сочинены были главным образом в XII—XIV веках.

Фарь угорский — венгерский конь.

Фелонь — риза священника.

Фряжская земля — Италия.

Хамовники — ткачи.

Хвальнское море — Каспийское.

Холон — несвободный, зависимый человек. Мог быть полный, обельный, раб и холоп кабальный, продавший себя на годы или пожизненно. По смерти хозяина мог получить вольную.

Чёрная дань — подушное, подушный сбор.

Чёрная смерть — чума.

Чёрные люди — простолюдины.

Чёрный бор — единовременный экстраординарный налог с населения.

Четь — мера земли под пашню, около 0,5 гектара.

Шерть (тат.) — присяга на подданство.

Шестоднев — у христиан мера счета рабочих дней в соответствии с суждением о сотворении мира Богом в шесть дней, седьмой — день отдыха.

Шнек — рыболовная лодка, род карбаса.

Щипец — морда борзой собаки.

Ям (тат.) — почтовая станция, отсюда — ямщик.

Яртаул (тат.) — передовой отряд конников.

Ярыжка — низший служитель полиции для рассылки и исполнения приказаний.

Яхонт — красный — рубин, синий — сапфир.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая. КНЯЖИЧ

Глава 1. В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ	5
Глава 2. ПОЖАР И СМУТА МОСКОВСКАЯ	23
Глава 3. У ТАТАР	35
Глава 4. В ГАЛИЧЕ МЕРЬСКОМ	51
Глава 5. ОКУП	60
Глава 6. В ПЕРЕЯСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ	74
Глава 7. О ЗЛОМ СОВЕТЕ ШЕМЯКИНОМ	85
Глава 8. В МОСКВЕ	93
Глава 9. У ЖИВОНАЧАЛЬНЫХ ТРОИЦЫ	102
Глава 10. БЕГСТВО	117
Глава 11. ПРЕДЕЛ СКОРБИ	124
Глава 12. ВО ГРАДЕ МУРОМСКОМ	130
Глава 13. У ЗЛОГО ВОРОГА	142
Глава 14. ВО ГРАДЕ, ИССТАРИ СЛАВНОМ	150
Глава 15. В УГЛИЧЕ	164
Глава 16. ОТПУЩЕНИЕ	172

Книга вторая. СОПРАВИТЕЛЬ

Глава 1. СЛОВО САМОДЕРЖЦА ТВЕРСКОГО	182
Глава 2. У ДОМА СВЯТОГО СПАСА	192
Глава 3. ТВЕРСКОЕ ЖИТЬЕ	203
Глава 4. У ШЕМЯКИ	210
Глава 5. ВЗЯТИЕ МОСКВЫ	218
Глава 6. К ВОЛОКУ ЛАМСКОМУ	225
Глава 7. ПОД УГЛИЧЕМ	235
Глава 8. В ЧУХЛОМЕ	243
Глава 9. ОГНЕННАЯ СТРЕЛЬБА	250
Глава 10. ЦАРЕВИЧИ ТАТАРСКИЕ	261
Глава 11. КАРГО-ПОЛЕ	269
Глава 12. НА ОТЧЕМ СТОЛЕ	273
Глава 13. ПЕРВЫЙ ПОХОД	283

Глава 14. ВО ВЛАДИМИРЕ	301
Глава 15. СОПРАВИТЕЛЬ	316
Глава 16. ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ	326
Глава 17. РАЗГРОМ	343
Глава 18. СКОРЫЕ ТАТАРЫ	355
Глава 19. В ОСАДЕ	372
Глава 20. НА КОКШЕНГЕ-РЕКЕ	383
Глава 21. ВОЗВРАЩЕНИЕ	393
Глава 22. ВЕСТЬ ИЗ НОВГОРОДА	405

Книга третья. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ

Глава 1. ПЛОДЫ НЕИСПРАВЛЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ	412
Глава 2. У НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО	422
Глава 3. В КНЯЖОМ СЕМЕЙСТВЕ	433
Глава 4. ЗНАМЕНΙΑ ГРОЗНЫЕ	446
Глава 5. В ОСИНОМ ГНЕЗДЕ	460
Глава 6. В МОСКВЕ	477
Глава 7. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ	497
Глава 8. НОВОЕ КНЯЖЕНИЕ	508
Глава 9. В БОЛЬШОЙ ОРДЕ	523
Глава 10. ДЕЛА МОСКОВСКИЕ	535
Глава 11. ЗЛО КАЗАНСКОЕ	550
Глава 12. НА ПОХОДЕ	562
Глава 13. РАТЬ КАЗАНСКАЯ	575
Глава 14. СМИРЕНИЕ ЦАРЯ ИБРАГИМА	589

Книга четвертая. ВОЛЬНОЕ ЦАРСТВО

Глава 1. НОВЫЕ СМУТЫ НОВГОРОДСКИЕ	613
Глава 2. ПОХОД К НОВГОРОДУ	626
Глава 3. ПОЛКИ ИДУТ МОСКОВСКИЕ	637
Глава 4. ШЕЛОНСКАЯ БИТВА	652
Глава 5. ГНЕВ И МИЛОСТЬ ГОСУДАРЕВЫ	661
Глава 6. КОРОСТЫНЬСКОЕ СТОЯНИЕ	675
Глава 7. ВО ГРАДЕ СТОЛЬНОМ МОСКВЕ	687
Глава 8. ДЕЛА СВОИ И ЧУЖЕЗЕМНЫЕ	696
Глава 9. ПОСОЛЬСТВО В РИМ	722
Глава 10. МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ	760
Глава 11. ЦАРЕВНА ЦАРЕГРАДСКАЯ	775
Глава 12. РУКА РИМА	786
Глава 13. ВОРОВСТВО ЧУЖЕЗЕМНОЕ	801
Глава 14. ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ	815

Глава 15. ПОХОД «МИРОМ»	832
Глава 16. КОНЕЦ НОВГОРОДУ	866
Глава 17. УГРА	902

Книга пятая. ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Глава 1. ПЕРВЫЕ ШАГИ	958
Глава 2. ПРОТИВ ПАПЫ И ЦЕСАРЯ	989
Глава 3. ТВЕРСКИЕ ЗЛЫЕ УМЫСЛЫ	1012
Глава 4. ВЗЯТИЕ И ВОССОЕДИНЕНИЕ ТВЕРИ	1043
Глава 5. СНОВА РУКА ПАПЫ	1076
Глава 6. НОВЫЕ ПУТИ	1101
Глава 7. ГОСУДАРЕВО ВОЗДАЯНИЕ	1113
Глава 8. МЕЖДУ СТАРЫМ И НОВЫМ	1133
Глава 9. НА НОВЫХ ТОРГОВЫХ ПУТЯХ	1153
Глава 10. ЗА ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ	1172
Глава 11. ОБУЗДАНИЕ ТАЙНЫХ И ЯВНЫХ ВОРОГОВ	1192
Глава 12. НОВЫЕ ПОБЕДЫ	1217

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ	1267
--	------